

# ГРАНИ

GRANI

97  
1975

---

Verlagsort: Frankfurt/Main, Juli - September

НОВАЯ КНИГА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

Георгий Владимов  
Верный Руслан

(История караульной собаки)

Повесть о трагической судьбе собаки, служившей в конвое, после роспуска лагерей отпущенной на волю, но до конца жизни оставшейся верной внушенному ей людьми пониманию долга.

«...Все эти положительные и героические начала, собранные в Руслане так, что он вырастает в живой памятник нашей эпохи, возбуждают у нас, читателей повести, скорбь и ужас, жалость и смех, горький смех: вот, оказывается, до чего можно довести человека, можно извратить собаку, обернув все добрые, природные задатки нашего естества на дело, противное жизни, на возведение и поддержание — клетки».

А. Терц. Люди и звери. «Континент» № 5.

Большой формат, суперобложка. В книге 176 стр. Цена 22 н. м.

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXX

№ 97

1975 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ВАС. ГРОССМАН — За правое дело. Отрывок из второго тома романа 3
- Н. КОРЖАВИН — «Я — плоть, Господь...» Стихотворение 32
- Е. ЛОБАС — Раз в жизни. Повесть. Из цикла «Сонет-66» 33
- СТИХИ АНОНИМНОГО ПОЭТА — Форма. На крыше. «Пью вино архаизмов...» 137

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- А. И. РУБИН — Поэзия Тютчева как созвучное слияние с природой 143

### ПУБЛИЦИСТИКА

- Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ — Вольные мысли о сборнике «Из-под глыб» 174
- А. ЕПИФАНОВ — Пути Добровольческого движения. 1918-1919 гг. 223

### БИБЛИОГРАФИЯ

- В. Бетаки. Связь времен. — Р. Р. Роман-анекдот. — Р. Н. Легальная борьба. — Коротко о книгах 267

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

© 1975 by Possev-Verlag  
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main  
Издательство «Посев»

Вас. Гроссман

## За правое дело

*Отрывок из второго тома романа*

Людмила Николаевна вынула из почтового ящика военное письмо. Большими шагами она вошла в комнату и поднесла конверт к свету, оторвала край грубой конвертной бумаги.

В миг ей представилось, что из конверта посыпятся фотографии Толи, — крошечный, когда еще головка не держалась, голый, на подушке с задранными медвежьими ножками, с оттопыренными губами.

Непонятным образом, казалось, не вчитываясь в слова, а впитывая, вбирая красивым почерком неинтеллигентного грамотея написанные строчки, она поняла: жив, жизнь!

Она прочитала о том, что Толя тяжело ранен в грудь и в бок, потерял много крови, слаб, сам не может писать, четыре недели температурит...

---

Первый том романа Вас. Гроссмана «За правое дело» печатался с продолжениями в журнале «Новый мир» (начиная с июльского номера) в 1952 г. Он сразу же подвергся «критическому» разгрому, но затем всё-таки вышел отдельной книгой (части 1-3, Москва, 1954 г.). Последующие части романа, вместе с другими рукописями, были «арестованы» КГБ после смерти писателя. Один экземпляр рукописи был сохранен друзьями писателя. По замыслу автора роман должен был называться «Жизнь и судьба». Отрывки из второй книги романа уже публиковались в журналах «Посев» (№ 7 - 1975) и «Континент» (№№ 4 и 5).  
— Р е д.

Но счастливые слезы застилали ей глаза, так велико было мгновение назад отчаяние.

Она вышла на лестницу, прочла первые строки письма и, успокоенная, пошла в деревянный сарай. Там, в холодном сумраке, она прочла середину и конец письма и подумала, что письмо — предсмертное прощание с ней.

Людмила Николаевна стала укладывать дрова в мешок. И хотя доктор, у которого она лечилась в московском Гагаринском переулке в поликлинике ЦЕКУБУ, велел ей не поднимать свыше трех килограммов и делать лишь медленные плавные движения, Людмила Николаевна, по-крестьянски закрихтев, взвалила на плечи мешок, полный серых поленьев, махом поднялась на второй этаж. Она спустила мешок на пол, и посуда на столе вздрогнула, зазвенела.

Людмила надела пальто, накинула на голову платок и пошла на улицу. Люди проходили мимо, потом оглядывались. Она перешла улицу, трамвай резко зазвонил, и вагоновожатая погрозила ей кулаком.

«Если Толя погибнет, то отцу его это не будет известно, — в каком лагере искать его, может быть, давно умер...»

. . . . .

Уехала Людмила Николаевна без вещей и продуктов, почти без денег, на палубу прошла, не имея билета, в общей давке и суете, поднявшейся при посадке. Увезла она лишь память о прощании с матерью, мужем, Надей в тёмный осенний вечер. Зашумели у бортов черные волны, низовой ветер ударил, завыл, подхватил брызги речной воды.

...Ночью небо над Волгой очистилось от туч. Медленно плыли под звездами холмы, расколотые густой тьмой оврагов. Изредка проносились метеоры, и Людмила Николаевна беззвучно произносила: «Пусть Толя останется жив!» Это было ее единственное желание, больше она ничего не хотела от неба.

Одно время, еще учась на физмате, она работала вычислительницей в Астрономическом институте. Тогда она узнала, что метеоры движутся потоками, встречающими землю в разные месяцы, — персеиды, ориониды, кажется, еще геминиды, леониды. Она уже забыла, какой поток метеоров встречается с землей в октябре, в ноябре... Но пусть Толя будет жив!

Виктор упрекал ее в том, что она не любит помогать людям, плохо относится к его родным. Он считал, что захоти Людмила, Анна Семеновна жила бы с ними и не осталась бы на Украине.

Когда двоюродного брата Виктора выпустили из лагеря и направили в ссылку, она не хотела пустить его ночевать, боялась, что об этом узнает домоуправление. Она знала: мать помнит, что Людмила жила в Гаспре, когда отец умирал, и Людмила не прервала отдыха, приехала в Москву на второй день после похорон.

Мать иногда говорила с ней о Дмитрие, ужасалась тому, что произошло с ним. «Он был мальчиком правдивым, прямым, таким он остался всю жизнь. И вдруг — шпионаж, подготовка убийства Кагановича и Ворошилова... Дикая, страшная ложь, кому нужна она? Кому нужно губить искренних, честных...?»

Однажды она сказала матери: «Не можешь ты полностью ручаться за Митю. Невинных не сажают». И сейчас ей вспомнился взгляд, которым посмотрела на нее мать.

Как-то она сказала матери о жене Дмитрия: «Я ее всю жизнь терпеть не могла, скажу тебе откровенно, я и теперь ее терпеть не могу».

И сейчас ей вспомнился ответ матери: «Да ты понимаешь, что́ это всё значит, сажать жену на десять лет за недонесение на мужа!»

Потом ей вспомнилось: она как-то принесла домой щенка, найденного на улице; Виктор не хотел взять этого щенка, и она крикнула ему: «Жестокый ты человек!» А он ответил ей: «Ах, Люда, я не хочу, чтобы ты была молода и красива, я одного хочу — чтобы у тебя было доброе сердце не только к кошкам и собакам».

Сейчас, сидя на палубе, она вспоминала, впервые не любя себя, не желая обвинять других, горькие слова, которые ей пришлось выслушать в своей жизни... Когда-то муж смеясь сказал по телефону: «С тех пор, как мы взяли котёнка, я слышу ласковый голос жены».

Мать ей как-то сказала: «Люда, как это ты можешь отказывать нищим, — ведь подумай: голодный просит у тебя, у сытой...» Но она не была скупой. Она любила гостей, ее обеды были знамениты среди знакомых.

Никто не видел, как она плакала, сидя ночью на палубе. Пусть, пусть она черства, она забыла всё, что учила, она ни к чему не пригодна, — она уже никому не может нравиться, растолстела, волосы — серые от седины, высокое давление, муж ее не любит, поэтому она и кажется ему бессердечной. Но лишь бы Толя был жив! Она готова всё признать, покаяться во всем плохом, что ей приписывают близкие, — только бы он был жив!

Почему она всё время вспоминает своего первого мужа? Где он, как найти его? Почему она не

написала его сестре в Ростов? Теперь-то не напишешь — немцы. Сестра бы ему сообщила о Толе.

Шум паровой машины, подрагивания палубы, всплески воды, мерцание звезд в небе — всё смешалось и слилось, и Людмила Николаевна задремала.

Приближалось время рассвета. Туман колыхался над Волгой, и казалось: всё живое утонуло в нем. И вдруг взойшло солнце — словно взрыв надежды! Небо отразилось в воде, и темная осенняя вода задыхалась, и солнце словно вскрикивало на речной волне. Береговой откос был круто просолен ночным морозом, и как-то особенно весело смотрели среди инея рыжие деревья. Налетел ветер, исчез туман, мир стал стеклянный, пронзительно прозрачный, и не было тепла ни в ясном солнце, ни в синеве воды и неба.

Земля была огромна, и даже лес на ней не стоял без края, видны были и начало его, и конец, а земля всё длилась, тянулась. Таким же огромным и вечным, как земля, было ее горе.

Она видела ехавших в Куйбышев в каютах первого класса наркоматовских руководителей в бекешах защитного цвета, в шапках из серого полковничьего каракуля. В каютах второго класса ехали ответственные жены, ответственные тещи, по чину обмундированные, словно имелась особая форма для жен, своя для тещ и свекровей. Жены — в меховых шубках, с белыми пуховыми платками, тещи и матери — в синих суконных шубах с черными каракулевыми воротниками, с коричневыми платками. С ними ехали дети со скучными, недовольными глазами. Через окна кают видны были продукты, следовавшие вместе с этими пассажирами. Опытный глаз Людмилы легко определял содержание мешков; в кошелках, в запаянных банках, темных больших бутылках с засургучен-

ными горлышками плыли вниз по Волге мёд, топленое масло. По отрывкам разговоров гуляющих по палубе классных пассажиров ясно было, что их всех занимает и волнует идущий из Куйбышева московский поезд.

Людмиле казалось, что женщины безразлично смотрят на красноармейцев и лейтенантов, сидящих в коридорах, точно у них не было на войне сыновей и братьев. Когда передавали утреннее сообщение «От Советского Информбюро», они не стояли под рупором вместе с красноармейцами, парходными матросами, щурясь заспанными глазами на громкоговоритель, а пробирались по своим делам.

От матросов Людмила узнала, что весь парокход был дан для семей ответственных работников, возвращающихся через Куйбышев в Москву, и что в Казани, по приказу военных властей, на него произвели посадку воинских команд и гражданских лиц. Законные пассажиры устроили скандал, отказывались пускать военных, звонили по телефону уполномоченному Государственного Комитета Обороны. И нечто непередаваемо странное было в виноватых лицах красноармейцев, едущих под Сталинград и чувствующих, что они стесняли законных пассажиров.

Людмиле Николаевне казались невыносимыми эти спокойные женские глаза. Бабушки подзывали внуков и, продолжая разговор, привычным движением совали во внучачьи рты печенье. А когда из расположенной на носу каюты вышла на палубу прогуливать двух мальчиков приземистая старуха в шубе из колонка, женщины торопливо кланялись ей, улыбались, и на лицах государственных мужей появлялось ласковое и беспокойное выражение. Объяви сейчас радио об открытии второго фронта, о том, что прорвана блокада Ленин-

града — никто из них не дрогнет; но скажет им кто-либо, что в московском поезде отменен международный вагон — и все события войны будут поглощены великими страстями мягких и жёстких плацкарт.

Удивительно! Ведь Людмила Николаевна своим обмундированием — серой каракулевой шубой, пуховым платком — походила на пассажиров первого и второго классов. Ведь недавно и она переживала плацкартные страсти, возмущалась, что Виктору Павловичу для поездок в Москву не дали билета в мягкий вагон.

Она рассказала лейтенанту-артиллеристу, что ее сын, лейтенант-артиллерист, лежит с тяжелыми ранениями в саратовском госпитале. Она говорила с больной старухой о Марусе, и о Вере, о свекрови, пропавшей на оккупированной территории. Ее горе было такое же, как горе, вздыхавшее на этой палубе, горе, которое всегда находило свою дорогу от госпиталей, от фронтовых могил к деревенским избам, к стоящему на безымянном пустыре безномерному бараку.

Уходя из дому, она не взяла с собой кружку, не взяла хлеба, казалось, что она всю дорогу не будет ни есть, ни пить. Но на пароходе с самого утра ей мучительно захотелось есть, и Людмила поняла, что ей круто придется. На второй день пути красноармейцы, сговорившись с кочегарами, сварили в машинном отделении суп с пшеном, позвали Людмилу и налили ей в котелок супа.

Людмила сидела на пустом ящике и хлебала из чужого котелка чужой ложкой обжигающий суп.

— Хорош супчик! — сказал ей один из кашеваров и, так как Людмила Николаевна молчала, задорно спросил ее: — А не так разве, не навари-стый?

Именно в этом требовании похвалы, обращенном к человеку, которого красноармеец накормил, и ощущалась простодушная широта.

Людмила помогла бойцу заправить пружину в неисправный автомат, чего не мог сделать даже старшина с орденом Красной Звезды. Прислушавшись к спору лейтенантов-артиллеристов, взяла карандаш и помогла им вывести тригонометрическую формулу. После этого случая, лейтенант, звавший ее «гражданочкой», неожиданно спросил, как ее зовут по имени и отчеству.

А ночью Людмила Николаевна ходила по палубе. Река дышала ледяным холодом, из тьмы налетал низовой, безжалостный ветер. Над головой светили звезды, и не было утешения и покоя в этом жестоком — из огня и льда — небе, стоявшем над ее несчастной головой.

Перед приходом парохода во временную военную столицу капитан получил распоряжение продлить рейс до Саратова: погрузить на пароход раненых из саратовских госпиталей.

Пассажиры, ехавшие в каютах, стали готовиться к высадке, выносили чемоданы, пакеты, укладывали их на палубе.

Стали видны силуэты фабрик, домики под железными крышами, бараки, и, казалось, по-иному зашумела вода за кормой, по-иному, тревожней, застучала пароходная машина.

А потом медленно стала выползать громада Самары, серая, рыжая, черная, поблескивающая стеклами, в клочьях фабричного, паровозного дыма.

Пассажиры, сходившие в Куйбышеве, стояли у борта.

Сходившие на берег не прощались, но кивали в сторону остающихся, — не завязались в дороге

знакомства. Старуху в колонковой шубе и ее двух внуков ожидал автомобиль ЗИС-101. Желтолицый человек в бекеше генеральского сукна откозырял старухе, поздоровался с мальчиками за руку. Прошло несколько минут, и пассажиры с детьми, с чемоданами, пакетами исчезли, точно и не было их. На пароходе остались лишь шинели, ватники.

Людмиле Николаевне показалось, что теперь ей легче и лучше будет двигаться среди людей, объединенных одной судьбой, трудом, горем. Но она ошиблась.

Грубо и жестоко встретил Людмилу Николаевну Саратов. Сразу же на пристани она столкнулась с каким-то одетым в шинель пьяным человеком; споткнувшись, он толкнул ее и выругал грязными словами. Людмила Николаевна стала взбираться по крутому, замощенному булыжником взвозу и остановилась, тяжело дыша, оглянулась. Пароход белел внизу между пристанских серых амбаров и, словно понял ее, негромко, отрывисто протрубил: «Иди уж, иди». И она пошла.

При посадке в трамвай молодые женщины с молчаливой старательностью отпихивали старых и слабых. Слепой в красноармейской шапке, видимо, недавно выпущенный из госпиталя, не умея еще одиноко нести свою слепоту, переминался суевливыми шажками либо дробно постукивал палочкой перед собой. Он по-детски жадно ухватился за рукав немолодой женщины. Она отдернула руку, шагнула, звеня по булыжнику подкованными сапогами, а он, продолжая цепляться за ее рукав, торопливо объяснял:

— Помогите произвести посадку, я из госпиталя.

Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потерял равновесие, сел на мостовую. Людмила посмотрела на лицо женщины. Откуда это нечелове-

ческое выражение? Что породило его: голод в 1921 году, пережитый ею в детстве? мор 1930 года? жизнь, полная по края нужды?

На мгновение слепой обмер, потом вскочил, закричал птичьим голосом. Он, вероятно, с невыразимой пронзительностью увидел своими слепыми глазами самого себя в съехавшей набок шапке, бессмысленно машущего палкой.

Слепой бил палкой по воздуху, и в этих круговых взмахах выражалась его ненависть к безжалостному зрячему миру. Люди, толкались, лезли в вагон, а он стоял, плача и вскрикивая. А люди, которых Людмила с надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя, точно сговорились вести себя не по-людски. Они точно сговорились опровергнуть взгляд, что добро можно заранее уверенно определить в сердцах тех, кто носит замасленную одежду, у кого потемнели в труде руки.

Что-то мучительное, темное коснулось Людмилы Николаевны и одним своим прикосновением наполнило ее холодом и тьмой тысячеверстных нищих русских просторов, ощущением беспомощности в жизненной тундре.

Людмила переспросила кондукторшу, где нужно сходить, и та спокойно проговорила:

— Я уже объявила, оглохла, что ли?

Пассажиры, стоявшие в трамвайном проходе, не отвечали на вопрос, сходят ли они, как окаменели, не желали подвинуться.

Когда-то Людмила училась в подготовительном, «азбучном» классе саратовской женской гимназии. Зимним утром она сидела за столом, болтая ногами, и пила чай, а отец, которого она обожала, намазывал ей маслом кусок теплого калача... Лампа отражалась в толстой щеке самовара, и не хоте-

лось уходить от теплой руки отца, от теплого хлеба, от тепла самовара.

И казалось: в ту пору не было в этом городе ноябрьского ветра, голода, самоубийц, умирающих в больнице детей, а одно лишь тепло, тепло, тепло.

Здесь на кладбище была похоронена ее старшая сестра Соня, умершая от крупа, — Александра Владимировна назвала ее Соней в честь Софьи Львовны Перовской. На этом же кладбище, кажется, и дедушка похоронен.

Людмила подошла к трехэтажному школьному зданию, то был госпиталь, где лежал Толя. У двери не стоял часовой, и ей показалось, что это — хорошая примета. Она ощутила госпитальный воздух, такой тягучий и липкий, что даже замученные морозом люди не радовались его теплу, а вновь хотели уйти от него на мороз. Она прошла мимо уборных, где сохранились дощечки «для мальчиков» и «для девочек». Она прошла по коридору, и на нее пахнули кухни; она прошла еще дальше и через запотевшее окно разглядела сложенные во внутреннем дворе прямоугольные ящички-гробы, и снова, как у себя в передней с нераспечатанным письмом, она подумала: «О Боже, если б сейчас упасть мертвой!» Но она пошла большими шагами дальше, ступила на ковровую серую дорожку и, пройдя мимо тумбочек со знакомыми ей комнатными растениями — аспарагусами, филодендронами, — подошла к двери, на которой, рядом с дощечкой «четвертый класс», висела сделанная от руки надпись: «Регистратура».

Людмила взялась за ручку двери, и солнечный свет, прорвавшись сквозь тучи, ударил в окна, и всё вокруг засияло.

А спустя несколько минут разговорчивый писарь, перебирая карточки в длинном, сиявшем на солнце ящике, говорил ей:

— Так-так, значит, Шапошников А, Ве... Анатолий Ве... так... ваше счастье, что не встретили нашего коменданта, не раздевши, в пальто, он бы вам дал жизни... так-так... ну вот, значит, Шапошников... Да-да, он самый, лейтенант, правильно.

Людмила смотрела на пальцы, вытаскивающие карточку из длинного фанерного ящика, и казалось: она стоит перед Богом, и в Его воле сказать ей слово жизни либо слово смерти, и вот Он на миг замешкался, не решил еще, жить ее сыну или умереть.

Людмила Николаевна приехала в Саратов через неделю после того, когда Толе сделали еще одну — третью — операцию. Операцию производил военврач второго ранга Майзель. Операция была сложная и длительная, более пяти часов Толя находился под общим наркозом, дважды пришлось вводить в вену гексонал. Никто из госпитальных военных и клинических университетских хирургов подобной операции в Саратове не производил. Известна она была по литературным источникам, американцы в военно-медицинском журнале за 1941 год поместили ее подробное описание.

Ввиду особой сложности этой операции, с лейтенантом после очередного рентгеновского исследования длительно и откровенно беседовал доктор Майзель. Он объяснил лейтенанту характер тех патологических процессов, которые происходили в его организме после ужасного ранения. Одновременно хирург откровенно рассказал о риске, сопутствующем операции. Он сказал, что врачи, консультировавшие вместе с ним, не единогласны в своем решении, — старый клиницист, профессор Родионов, был против операции. Лейтенант Шапошников задал доктору Майзелю два-три вопроса и тут же, в рентгеновском кабинете, после ко-

роткого размышления, согласился оперироваться. Пять дней ушло на подготовку к операции.

Операция началась в одиннадцать часов утра и закончилась лишь в четвертом часу. При операции присутствовал начальник госпиталя, военный врач Димитрук. По отзывам врачей, наблюдавших за операцией, она прошла блестяще. Майзель правильно решил тут же, стоя у операционного стола, неожиданные, не предусмотренные в литературном описании трудности. Состояние больного во время операции было удовлетворительное, пульс хорошего наполнения, без выпадений.

Около двух часов дня доктор Майзель, человек немолодой и грузный, почувствовал себя плохо и вынужден был на несколько минут прервать работу. Доктор-терапевт Клестова дала ему валидол, после чего Майзель уже не делал перерывов до конца работы. Однако вскоре после окончания операции, когда лейтенант Шапошников был транспортирован в бокс, у доктора Майзеля произошел тяжелый приступ стенокардии. Лишь повторные инъекции камфоры и прием жидкого нитроглицерина ликвидировали к ночи спазмы сосудов. Приступ был, очевидно, вызван нервным возбуждением, непосильной перегрузкой больного сердца.

Дежурная возле Шапошникова сестра Терентьева, согласно указанию, следила за состоянием лейтенанта. В бокс зашла Клестова, проверила пульс у лежавшего в забытьи лейтенанта. Состояние Шапошникова было удовлетворительным; доктор Клестова сказала сестре Терентьевой:

— Дал Майзель лейтенанту путевку в жизнь, а сам чуть не помер.

Сестра Терентьева ответила:

— Ох, если б только лейтенант Толя выкарабкался.

Шапошников дышал почти неслышно. Лицо его было неподвижно, тонкие руки и шея казались детскими, на бледной коже едва заметной тенью лежал загар, сохранившийся от полевых занятий и степных переходов. Состояние, в котором находился Шапошников, было средним между беспмятством и сном — тяжелая одурь от непреодоленного действия наркоза и изнеможения душевных и физических сил. Больной невнятно произносил отдельные слова и иногда целые фразы. Терентьевой показалось, что он сказал скороговоркой: «Хорошо, что ты меня не видела таким». После этого он лежал тихо, углы губ опустились, и казалось, что, находясь в беспмятстве, он плачет.

Около восьми часов вечера больной открыл глаза и внятно, — медицинская сестра Терентьева обрадовалась и удивилась, — попросил напиток. Сестра Терентьева сказала больному, что пить ему нельзя, и добавила, что операция прошла превосходно и больного ждет выздоровление. Она спросила его о самочувствии, и он ответил, что боли в спине и боку не велики. Она вновь проверила его пульс и провела увлажненным полотенцем по его губам и по лбу.

В это время в палату вошел санитар Медведев и передал, что сестру Терентьеву вызывает по телефону начальник хирургического отделения, военврач Платонов. Сестра зашла в комнату дежурного по этажу и, взяв трубку, доложила военврачу Платонову, что больной проснулся, состояние у него обычное для перенесшего тяжелую операцию.

Сестра Терентьева попросила сменить ее, — ей необходимо пойти в Городской военный комиссариат в связи с путаницей, возникшей при переадресовке денежного аттестата, выданного ей мужем. Военврач Платонов обещал отпустить ее, но

велел наблюдать Шапошникова до того, как Платонов сам осмотрит его.

Сестра Терентьева вернулась в палату. Больной лежал в той же позе, в какой она оставила его, но выражение страдания не так резко выступало на его лице — углы губ приподнялись и лицо казалось спокойным, улыбающимся. Постоянное выражение страдания, видимо, старило лицо Шапошникова, и сейчас — улыбающееся — оно поразило сестру Терентьеву: худые щеки немного оттопырились, полные бледные губы, высокий, без единой морщинки лоб, казалось, принадлежали не взрослому человеку, даже не отроку, а ребенку. Сестра Терентьева спросила о самочувствии больного, но он не ответил, — очевидно, заснул.

Сестру Терентьеву несколько насторожило выражение его лица. Она взяла лейтенанта Шапошникова за руку, — пульс не прощупывался, рука была чуть теплой от того неживого, едва ощутимого тепла, которое хранят в себе по утрам топленные накануне и давно уже прогоревшие печи. И хотя медицинская сестра Терентьева всю жизнь прожила в городе, она, опустившись на колени, тихонько, чтобы не тревожить живых, завывала по-деревенски:

— Родненький наш, цветочек ты наш, куда ты ушел от нас...

В госпитале стало известно о приезде матери лейтенанта Шапошникова. Мать умершего лейтенанта принял комиссар госпиталя, батальонный комиссар Шиманский. Шиманский, красивый человек, с выговором, свидетельствующим о его польском происхождении, хмурился, ожидая Людмилу Николаевну, — ему казались неизбежными ее слезы, может быть, обморок. Он облизывал языком недавно выращенные усы, жалел умер-

шего лейтенанта, жалел его мать и поэтому сердился и на лейтенанта, и на его мать: если устраивать прием для мамы каждого умершего лейтенанта, где наберешься нервов? Усадив Людмилу Николаевну, Шиманский, прежде чем начать разговор, подвинул к ней графин с водой. Она сказала:

— Благодарю вас, я не хочу пить.

Она выслушала его рассказ о консилиуме, предшествовавшем операции (батальонный комиссар не счел нужным говорить ей о том, что один голос был против операции), о трудностях операции и о том, что операция прошла хорошо; хирурги считают, что эту операцию следует применять при тяжелых ранениях, подобных тем, что получил лейтенант Шапошников. Он сказал, что смерть Шапошникова наступила от паралича сердца, и, как показано в заключении патологоанатома, военврача третьего ранга Болдырева, предвидение и устранение этого внезапного экзитуса было вне власти врачей.

Затем батальонный комиссар заговорил о том, что через госпиталь проходят сотни больных, но редко кого так любил персонал, как лейтенанта Шапошникова, — сознательный, культурный и застенчивый больной, всегда совестился попросить о чем-нибудь, утруждать персонал. Шиманский сказал, что мать должна гордиться, воспитав сына, беззаветно и честно отдавшего жизнь за Родину. Затем он спросил, есть ли у нее просьбы к командованию госпиталя.

Людмила Николаевна попросила извинить ее, что она отнимает время у комиссара, и, вынув из сумки листок бумаги, стала читать свои просьбы.

Она попросила указать ей место захоронения сына.

Батальонный молча кивнул и пометил в блокноте.

Она хотела поговорить с доктором Майзелем.

Батальонный комиссар сказал, что доктор Майзель, узнав об ее приезде, сам хотел встретиться с ней.

Она попросила встречи с медицинской сестрой Терентьевой.

Комиссар кивнул и сделал пометочку у себя в блокноте.

Она попросила разрешения получить на память вещи сына.

Снова комиссар сделал пометку.

Потом она попросила передать раненым привезенные ею для сына гостинцы и положила на стол две коробки шпротов, пакетик конфет.

Ее глаза встретились с глазами комиссара, и он невольно сощурился от блеска ее больших голубых глаз.

Шиманский попросил Людмилу прийти в госпиталь на следующий день, в девять тридцать утра, — все ее просьбы будут исполнены.

Батальонный комиссар посмотрел на закрывавшуюся дверь, посмотрел на подарки, которые Шапошникова передала раненым, пощупал пульс у себя на руке, не нашел его, махнул рукой и стал пить воду, которую предложил в начале беседы Людмиле Николаевне.

Казалось, нет у Людмилы Николаевны свободной минуты. Ночью она ходила по улицам, сидела на скамейке в городском саду, заходила на вокзал греться, снова ходила по пустынным улицам скорым, деловым шагом.

Шиманский выполнил всё, о чем она просила.

В девять часов тридцать минут утра Людмила Николаевну встретила медицинская сестра Терентьева. Людмила Николаевна просила ее рассказать всё, что она знала о Толе.

Вместе с Терентьевой Людмила Николаевна, надев халат, поднялась на второй этаж, прошла коридором, по которому несли ее сына в операционную, постояла у двери однокочной палаты-бокса, поглядела на пустовавшую в это утро койку. Сестра Терентьева шла всё время рядом с ней и вытирала нос платком. Они снова спустились на первый этаж, и Терентьева простилась с ней.

Вскоре в приемную комнату, тяжело дыша, вошел седой тучный человек с темными кругами под темными глазами. Накрахмаленный, ослепительный халат хирурга Майзеля казался еще белее по сравнению с его смуглым лицом, темными вытаращенными глазами.

Майзель рассказал Людмиле Николаевне, почему профессор Родинов был против операции. Он, казалось, угадывал всё, о чем хотела спросить его Людмила Николаевна. Он рассказал ей о своих разговорах с лейтенантом Толей перед операцией. Понимая состояние Людмилы, он с жесточайшей прямоотой рассказал о ходе операции. Потом он заговорил о том, что у него к лейтенанту Толе была какая-то почти отцовская нежность, и в басовитом голосе хирурга тоненько, жалостно задребезжало стекло. Она посмотрела впервые на его руки, они были особенные, жили отдельно от человека с жалобными глазами, — суровые, тяжелые, с большими сильными смуглыми пальцами.

Майзель снял руки со стола. Словно читая ее мысль, он проговорил:

— Я сделал всё возможное, но получилось, что мои руки приблизили его смерть, а не победили ее. — Он снова положил руки на стол.

Она понимала, что всё сказанное Майзелем — правда. Каждое его слово о Толе, страстно ею желаемое, мучило и жгло. Но разговор имел в себе еще одну томительную тяжесть: она чувствовала, что хирург хотел встречи с ней не ради нее, а ради себя. И это вызывало в ней нехорошее чувство к Майзелю.

Прощаясь с хирургом, она сказала, что верит ему, что он сделал всё возможное для спасения ее сына. Он тяжело задыхался, и она ощутила, что слова ее принесли ему облегчение, и вновь поняла, что, чувствуя свое право услышать от нее эти слова, он и хотел с ней встречи и встретился с ней. И с упреком подумала: «Неужели от меня надо еще получать утешение!»

Хирург ушел, а Людмила пошла к человеку в папаше, коменданту. Он отдал ей честь, сипло доложил, что комиссар велел отвезти ее к месту захоронения на легковой машине; машина задержалась на десять минут из-за того, что отвозили в карточное бюро список вольнонаемных. Вещи лейтенанта уже уложены, их удобнее будет взять после возвращения с кладбища.

Всё, о чем просила Людмила Николаевна, было выполнено по-военному, чётко и точно. Но в отношении к ней комиссара, сестры, коменданта чувствовалось, что и эти люди хотят от нее получить какое-то успокоение, прощение, утешение.

Комиссар почувствовал свою вину за то, что в госпитале умирают люди. До приезда Шапошниковой его это не тревожило, — на то и госпиталь во время войны. Постановка медицинского обслуживания не вызывала нареканий у начальства. Его жучили за недостаточную организацию политической работы, за плохую информацию о настроениях раненых. Он недостаточно боролся с неверием в победу среди части раненых, с вражес-

кими вылазками среди отсталой части раненых, враждебно настроенных к колхозному строю. В госпитале имелись случаи разглашения ранеными военной тайны. Шиманского вызывали в политотдел Санитарного управления военного округа и посулили отправить его на фронт, если из Особого отдела опять сообщат о непорядках в госпитальной идеологии. А теперь комиссар почувствовал себя виноватым перед матерью умершего лейтенанта за то, что вчера умерло трое больных, а он вчера принимал душ, заказал повару свой любимый бигос из тушеной кислой капусты, выпил бидончик пива, добытый в саратовском горторге.

Сестра Терентьева была виновата перед матерью умершего лейтенанта в том, что муж ее, военный инженер, служил в штабе армии, на передовой не бывал, а сын, который на год старше Шапошникова, работал на авиационном заводе в конструкторском бюро.

И комендант знал свою вину: он — кадровый военный — служил в тыловом госпитале, он послал домой хороший габардиновый материал и фетровые валенки, а от убитого лейтенанта осталось матери бумажное обмундирование.

И толстогубый старшина, с мясистыми налитыми ушами, ведавший захоронением умерших больных, чувствовал свою вину перед женщиной, с которой поехал на кладбище. Гробы сбивались из тонких бракованных досок. Умершие клались в гробы в нижнем белье, рядовых клали тесно, в братские могилы, надписи на могилах делались некрасивым почерком на неотесанных дощечках, писались они непрочной краской. Правда, умерших в дивизионных медсанбатах закапывали в ямы без гробов, а надписи делали чернильным карандашом, до первого дождя. А тех, что погибли в бою, в лесах, в болотах, в оврагах, в чистом поле,

случалось, и не находили похоронщики, их хоронил песок, сухой лист, метель. Но старшина всё же чувствовал свою вину за низкое качество лесоматериалов перед женщиной, сидевшей с ним рядом в машине и выпрашивавшей его, как хоронят умерших: вместе ли, во что обряжают трупы, говорят ли последнее слово над могилой? Неудобно было и оттого, что перед поездкой он забежал к дружку в каптерку и выпил баночку разбавленного медицинского спиртшки, закусил хлебцем с луковкой. Он совестился, что в машине стоит от его дыхания водочный дух с цибульной примесью, но как он ни совестился, а отказаться от того, чтобы дышать, не мог. Он хмуро смотрел в зеркальце, висевшее перед водителем машины, — и в этом четырехугольном зеркальце отражались смеющиеся, смущавшие старшину глаза водителя.

«Ну и нажрался, старшина», — говорили безжалостно веселые молодые его глаза.

Все люди виноваты перед матерью, потерявшей на войне сына, и тщетно пробуют они оправдаться перед ней на протяжении истории человечества.

Бойцы трудового батальона сгружали с грузовика гробы. В их молчаливой неторопливости видна была трудовая, привычная сноровка. Один, стоя в кузове грузовика, пододвигал гроб к краю; другой принимал его на плечо и заносил в воздух; тогда молча подходил третий и принимал второй край гроба на плечо. Скрипя ботинками по замерзшей земле, они несли гробы к широкой братской могиле; поставив гроб у края ямы, возвращались к грузовику. Когда пустой грузовик ушел в город, бойцы присели на гробы, стоявшие у открытой могилы, и стали сворачивать папиро-

сы из большого количества бумаги и малого количества табаку.

— Сегодня вроде послободней, — сказал один и стал высекать огонь из добротного сложенного огнива, — трут в виде шнура был пропущен в медную гильзу, а кремень вправлен в оправу. Боец помахал трутом, и дымок повис в воздухе.

— Старшина говорил, больше одной машины не будет, — сказал второй и прищурился, выпустив много дыму.

— Тогда и оформим могилу.

— Ясно, сразу удобней, и список он привезет, проверит, — проговорил третий, не куривший, вынул из кармана кусок хлеба, встряхнул его, легонько обдул и стал жевать.

— Ты скажи старшине, пусть лом нам даст, а то на четверть почти прихватило землю морозом, завтра нам новую готовить, лопатой такую землю возьмешь разве?

Тот, что добывал огонь, гулко ударил ладонями, выбил из деревянного мундштука окурочек, легонько постучал мундштуком о крышку гроба.

Все трое замолчали, словно прислушиваясь. Было тихо.

— Верно, будто трудовым батальонам сухим пайком выдавать обед будут? — спросил жевавший хлеб боец, понизив голос, чтобы не мешать покойникам в гробах неинтересным для них разговором.

Второй курец, выдув окурочек из длинного закопченного тростникового мундштука, посмотрел в него на свет, покачал головой.

Снова было тихо...

— Денек сегодня ничего, вот только ветер.

— Слышь, машина пришла, так-то мы до обеда отделаемся.

— Нет, это не наша, это легковая.

Из машины вышел знакомый старшина, за ним — женщина в платке, и пошли в сторону чугунной ограды, где до прошлой недели производили захоронения, а потом перестали из-за отсутствия места.

— Хоронят силу, а никто не провожает, — сказал один. — В мирное время тут видишь как — один гроб, а за ним, может, сто человек цветочки несут.

— Плачут и по этим. — И боец толстым овальным ногтем, обточенным трудом, как галька морем, деликатно постучал по доске. — Только нам этих слез не видно... Гляди, старшина один вертается.

Они снова стали закуривать, на этот раз все трое. Старшина подошел к ним, добродушно сказал:

— Всё курим, ребята, а кто же за нас работает?

Они молча выпустили три дымовых облака, потом один, обладатель кресала, проговорил:

— Покуришь тут, слышь, грузовик подходит. Я его уже по мотору признаю.

Людмила Николаевна подошла к могильному холмику и прочла на фанерной дощечке имя своего сына и его воинское звание. Она ясно ощутила, что волосы ее под платком стали шевелиться, чьи-то холодные пальцы перебирали их.

Рядом, вправо и влево, вплоть до ограды, широко стояли такие же серые холмики, без травы, без цветов, с одним только стрельнувшим из могильной земли прямым деревянным стебельком. На конце этого стебелька имелась фанерка с именем человека. Фанерок было много, и их однообразие и густота напоминали строй щедро взошедших на поле зерновых...

Вот она наконец нашла Толю. Много раз она старалась угадать, где он, что он делает и о чем думает: дремлет ли ее маленький, прислонившись к стенке окопа, идет ли по дороге, прихлёбывает чай, держа в одной руке кружку, в другой — кусочек сахара, бежит ли по полю под обстрелом... Ей хотелось быть рядом, она была нужна ему: она бы долила чаю в кружку, сказала бы — «съешь еще хлеба», она бы разула его и обмыла натертую ногу, обмотала бы ему всю шарфом... И каждый раз он исчезал, и она не могла найти его. И вот она нашла Толю, но уже не нужна была ему.

Дальше видны были могилы с дореволюционными гранитными крестами. Могильные камни стояли, как толпа стариков, никому ненужных, для всех безразличных: одни повалились набок, другие беспомощно прислонились к стволам деревьев.

Казалось, небо стало какое-то безвоздушное, словно откачали из него воздух и над головой стояла наполненная сухой пылью пустота. А беззвучный насос, откачавший из неба воздух, всё работал, работал, и уже не стало для Людмилы не только неба, но не стало и веры и надежды, — в огромной безвоздушной пустоте остался лишь маленький, в серых смерзшихся комьях холм земли.

Всё живое — мать, Надя, глаза Виктора, военные сводки — перестало существовать. Живое стало неживым. Живым во всем мире был лишь Толя. Но какая тишина стояла кругом. Знает ли он уже, что она пришла?..

Людмила опустилась на колени; легонько, чтобы не причинить сыну беспокойства, поправила дощечку с его именем, — он всегда сердился, когда она поправляла воротничок его куртки, провожая его на занятия.

— Вот я пришла, а ты, верно, думал, что это мама не идет...

Она заговорила вполголоса, боясь, что ее услышат люди за кладбищенской оградой. По шоссе неслись грузовики, тёмная гранитовая позёмка кружилась, дымясь, по асфальту, кудрявясь, завиваясь... Шли, гремя солдатскими сапогами, молочницы с бидонами, люди с мешками, бежали школьники в ватниках и в зимних солдатских шапках. Но полный движения день казался ей туманным видением.

Какая тишина.

Она говорила с сыном, вспоминала подробности его прошедшей жизни, и эти воспоминания, существовавшие лишь в ее сознании, заполнили пространство детским голосом, слезами, шелестом книг с картинками, стуком ложечки о край белой тарелки, жужжанием самодельных радиоприемников, скрипом лыж, скрипом лодочных уключин на дачных прудах, шорохом конфетных бумажек, мельканием мальчишеского лица, плеч и груди. Его слёзы, огорчения, его хорошие и плохие поступки, оживленные ее отчаяньем, существовали выпуклые, осязаемые. Не воспоминания об ушедшем, а волнения действительной жизни охватили ее... Зачем читать всю ночь при этом ужасном свете, что ж это — в такие молодые годы начать носить очки?.. Вот он лежит в лёгонькой бязевой рубаше, босой... Как же не дали одеяла? Земля совершенно ледяная, и по ночам сильный мороз.

Неожиданно у Людмилы хлынула носом кровь. Платок сделался тяжелый, весь вымок. У нее закружилась голова, в глазах помутилось, и короткое мгновенье казалось, что она теряет сознание. Она зажмурила глаза, а когда открыла их, мир, оживленный ее страданием, уже исчез, лишь серая пыль, подхваченная ветром, кружилась над могилами; то одна, то другая могила начинала ды-  
миться.

Живая вода, что хлынула поверх льда и вынесла из тьмы Толю, сбежала, исчезла. Вновь отодвинулся тот мир, который на миг, сбив оковы, сам хотел стать действительностью, мир, созданный отчаянием матери. Ее отчаяние, подобно Богу, подняло лейтенанта из могилы, заполнило пустоту новыми звёздами.

В эти прошедшие минуты он один жил на свете, и благодаря ему было всё остальное. Но могучая сила матери не удержала огромные людские толпы, моря, дороги, землю, городá в подчинении перед мертвым Толей.

Она поднесла платок к глазам, глаза были сухи, а платок — мокрый от крови. Она ощутила, что лицо у нее запачкано, в липкой крови, и сидела, ссутулясь, смирясь, не по своей воле делая маленькие первые движения к осознанию того, что Толи нет.

Людей в госпитале поражало ее спокойствие, ее вопросы. Они не понимали, что Людмила не могла ощутить того, что было очевидно им — отсутствие Толи среди живущих. Ее чувство к сыну было таким сильным, что мощь совершившегося ничего не могла поделать с этим чувством — он продолжал жить. Она была безумна, никто не видел этого. Наконец она нашла Толю. Так кошка, найдя своего мертвого котенка, радуется, облизывает его.

Долгие муки проходит душа, пока годами, иногда десятилетиями, камень за камнем медленно воздвигает свой могильный холмик, сама в себе приходит к чувству вечной потери, смиряется перед силой произошедшего.

Ушли, закончив работу, бойцы трудового батальона. Собралось уходить солнце, и тени от могильных фанерок вытянулись. Людмила осталась

одна. Она подумала, что о смерти Толи надо сообщить родным, отцу в лагерь. Обязательно отцу. Родному отцу. О чем Толя думал перед операцией? Как его кормили — с ложечки? Спал ли он хоть немножко на боку, на спине? Он любил воду с лимоном и сахаром. Каким лежит он сейчас? Бритая ли у него голова?

Должно быть, от нестерпимой душевной боли кругом делалось всё темней и темней. Ее поразила мысль о вечности ее горя — умрет Виктор, умрут внуки ее дочери, а она всё будет горевать. И когда чувство тоски стало невыносимо и сердце не могло выдержать ее, снова растворилась грань между действительностью и миром, жившим в душе Людмилы, и вечность отступила перед ее любовью.

«Зачем, — подумала она, — сообщать о смерти Толи родному отцу, Виктору, всем близким? Ведь еще ничего неизвестно наверное. Лучше выждать. Может быть, всё еще будет совершенно по-иному...»

Она шёпотом сказала:

— И ты никому не говори, еще ничего неизвестно, всё еще будет хорошо.

Людмила прикрыла полой пальто Толины ноги. Она сняла платок с головы и прикрыла им плечи сына.

— Господи, да нельзя же так... Почему не дали одеяла? Хоть ноги получше закрой...

Она забылась, в полусне продолжала говорить с сыном, упрекала его за то, что письма его такие короткие. Она просыпалась, поправляла на нём сброшенный ветром платок.

Как хорошо, что они вдвоем, никто не мешает им. Его никто не любил. Все говорили, что он некрасив — у него оттопыренные толстые губы, он странно ведет себя, бессмысленно вспыльчив, обидчив. И ее никто не любил, все близкие видели в

ней одни лишь недостатки... Мой бедный мальчик, робкий, неуклюжий, хороший сыночек... Он один любил ее, и теперь ночью, на кладбище, он один с ней, он никогда не оставит ее... И когда она будет никому ненужной старухой, он будет любить ее... Какой он неприспособленный к жизни! Никогда ни о чем не попросит, застенчивый, смешной: учительница говорит, что в школе он стал посмешищем — его дразнят, выводят из себя, и он плачет, как маленький. Толя, Толя, не оставляй меня одну.

А затем пришел день: красное ледяное зарево разгоралось над заволжской степью. С рёвом проехал грузовик по шоссе. Безумие утихло. Она сидела рядом с могилой сына. Тело Толи засыпано землей. Его нет. Она видела свои грязные пальцы, валявшийся на земле платок, у нее онемели ноги, она ощущала, что лицо ее запачкано. В горле першило. Ей было всё равно. Скажи ей кто-нибудь, что кончилась война, что умерла ее дочь, очутись рядом с ней стакан горячего молока, кусок теплого хлеба, — она не шевельнулась бы, не протянула бы руки. Она сидела без тревоги, без мыслей. Всё было безразлично, не нужно. Одна лишь ровная мука сжимала сердце, давила на виски. Люди из госпиталя, врач в белом халате что-то говорили о Толе, она видела их разевающиеся рты, но не слышала их слов. На земле лежало письмо, выпавшее из кармана пальто, то, что она получила из госпиталя, и ей не хотелось поднять его, стряхнуть с него пыль. Не было уже мыслей о том, как двухлетний Толя, косолапо переваливаясь, ходил, терпеливо и настойчиво, следом за кузнечиком, прыгавшим с места на место, и о том, что она не спросила сестру, как лежал он утром, перед операцией, в последний день своей жизни — на боку, на спине? Она видела дневной свет, она не могла его не видеть. Вдруг ей вспомнилось: Толе исполнилось

три года, вечером пили чай со сладким пирогом, и он спросил: «Мама, почему темно, ведь сегодня день рождения?» Она видела ветви деревьев, блестящий под солнцем полированный кладбищенский камень, дощечку с именем сына — «Шапошн» было написано крупно, а «иков» лепилось мелко, буква к букве. Она не думала, у нее не было воли. Ничего у нее не было.

Она встала, подняла письмо, стряхнула законченными руками комки земли с пальто, очистила его, обтерла туфли, долго вытряхивала платок, пока он вновь не побелел. Она надела на голову платок, краешком его сняла пыль с бровей, обтерла губы, подбородок от пятен крови. Она пошла в сторону ворот, не оглядываясь, не медленно и не быстро...

## Н. Коржавин

Я — плоть, Господь... Но я не только плоть.  
Прошу покоя у Тебя, Господь.

Прошу покоя... Нет, совсем не льгот.  
Пусть даже нищета ко мне идёт.

Пускай стоит у двери под окном  
И держит ордер, чтоб войти в мой дом.

Я не сержусь, хоть сам себе не рад.  
Здесь предо мной никто не виноват.

Простые люди... Кто я впрямь для них?..  
Лежачий камень... Мыслящий тростник...

Всех милосердий я превысил срок,  
Протянутой руки схватить не смог.

Зачем им знать и помнить обо мне,  
Что значил я, чем жил в своей стране.

В своей стране, где подвиг мой и грех.  
В своей стране, что в пропасть тащит всех.

Они — просты. Досуг их добр и тих.  
И где им знать, что в пропасть тащат — их.

Пусть будет всё, чему нельзя не быть.  
Лишь помоги мне дух мой укрепить.

Покуда я живу в чужой стране.  
Покуда жить на свете страшно мне.

Пусть я не только плоть, но я и плоть...  
Прошу покоя у Тебя, Господь.

*Нью-Йорк, 1974*

*Из цикла «Сонет-66»*

## Раз в жизни

*Повесть*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Редактора газеты «Заря коммунизма» срочно вызвал первый секретарь. Вызвал не через инструктора или какого-то там помощника, а сам позвонил по телефону. Оно и приятно, и в то же время как-то немного страшно, когда он сам тебе звонит по телефону и так это по-деловому, коротко говорит: здоров, говорит, прэса! Ану, говорит, давай — зайди ко мне...

Что? Чего? Как? Почему и зачем? — ведь не спросишь. Иду, отвечаешь, Андрей Иванович. Уже иду!.. И по тону его чёрта с два поймешь, по какому вопросу он вызывает: может, за передовую статью похвалит — ведь целый день писал ее, извелся! — а может, и клизму такую хорошую, трехведерную поставит... За что? Знаете, лучше давайте не будем прикидываться, что мы с вами такие наивные люди. Всегда и у каждого что-нибудь за душой найдется... И вот он вам звякнул и тут же занялся каким-то другим вопросом, а вы себе стройте, какие хотите, догадки и предположения. А он, между прочим, специально так делает: по-

нимает, что у вас беспокойно будет на душе после его звонка. Но тут уж ничего не попишешь: стиль руководства у него такой...

И вот сидит редактор в приемной и гадает: в чем же дело? И в третий раз, наверное, проверяет, всё ли у него в порядке?

Брюки застегнуты, и на работе вроде бы не пили в последнее время. Синтетический, словно из клеенки, галстук на резиночке чуть поджимает гуляющий от волнения кадык; но ни в каких скандалах редактор не замешан — это факт! — и даже день рождения Ларысы отмечали не в редакции, а у нее дома; и никто к ней не напрашивался, она сама всех к себе пригласила, да и выпили там всего ничего: грамм по сто пятьдесят на брата, всё было тихо, культурно... Партбилет на месте, заколот английской булабочкой во внутреннем кармане, и ошибок в последних номерах газеты тоже серьезных не было... Пустой рукав аккуратно заправлен в наружный карман темно-синего пиджака, и вчера все до единого заголовки редактор специально два раза перечитал: как предчувствовал что-то недоброе, но ведь ничего не нашел... Перхоти на плечах не видно... Нет, вроде бы всё, абсолютно всё в порядке; вот только эта стерва Ларыска — ну как от нее избавиться!? — могла опять что-нибудь такое накапать, и еще непослушный уголок воротничка рубашки упрямо загибается кверху, как нос лыжи; редактор скатал его в трубочку и разгладил — теперь не торчит...

«А что, — думает редактор, — вот если бы набраться сейчас смелости, зайти и сказать ему всё!.. Ведь он же *любит!* правду. Сколько человек сами себе потом руки целовали за то, что в лихую годину говорили там, на ковре, всё, как на духу, не выкручивались и тем спасались!.. Эх, сказать бы...

Так, мол, и так, Андрей Иванович. Дрянная она! Ленивая, глупая, злая, завистливая, газету не любит и, главное, совершенно вас недостойна!..»

Так думал редактор, и весь его немолодой уже организм в напряжении ожидал, что вот сейчас оттуда, из-за двойной, звуконепроницаемой двери раздастся короткий энергичный звонок и сонная, безразличная секретарша, заглянув в кабинет, повернется к нему, уже привставшему с дивана, и кивнет головой: «Заходите!»

Сколько прекрасных, светлых мыслей родилось в редакторской голове — в такие тревожные минуты ожидания на этом кожаном и неудобном, но всегда, даже в июльский зной, прохладном диване! Иногда прямо так и накатывало... Как морской прилив на берег...

«Не совсем правильно, Андрей Иванович, не по-ленински мы живем! — так начинался любимый внутренний монолог редактора. — Вот взять хотя бы, к примеру, Ларысу. Красивая, огнистая баба — никто против этого не спорит... Но вы посмотрите на нее с другой стороны!»

Нет, не хотел первый секретарь смотреть на этот вопрос с другой стороны, и, хорошо зная это, редактор никогда не произносил заветный монолог вслух, но любить его — любил. Потому что это он только начинал с Ларысы! — а потом переходил к другим, более важным фактам, а от них — к всё более и более значительным обобщениям, и никогда за рабочим столом, когда редактор писал, не думалось ему так легко и свободно, как здесь, на диване...

Брюки застегнуты, партийный билет на месте, перхоти на плечах не видно, совесть его чиста!.. Редактор вздрогнул. Любимый монолог оборвался на полуслове, широко распахнулась дверь и в приемную вошел первый секретарь Андрей Иванович

Ворон. Рослый, могучий, да еще по какому-то случаю при параде — с золотой звездой на груди, он, казалось, излучал сияние власти:

— Здоров, прэса!

Редактор и сам не заметил, как поднялся с дивана, точно какая-то пружина толкнула его; он сдержанно, прилично улыбнулся и ловко, как краб клешней, цапнул своей левой протянутую ему правую руку, энергично пожал ее и приосанился, стоя перед первым секретарем.

Но первый секретарь не остановился перед редактором; он оказывается, поприветствовал своего подчиненного на ходу и уже через плечо бросил: «Давай заходи!», а сам куда-то ушел... В приемной и в кабинете было тихо, дремала секретарша... Редактор нерешительно вошел и неожиданно обнаружил здесь... незнакомого молодого человека.

— Приветствую вас, — дипломатично сказал редактор, ибо в кабинете первого секретаря так уместно было поздороваться с незнакомцем любого ранга.

Молодой человек вежливо приподнялся в кресле, приставленном к необозримому письменному столу, ответил на приветствие редактора, и они оба осторожно осмотрели друг друга. Парень был белокур, с чистым, даже нежным лицом, и на его щеках горели два больших и румяных яблока еще непройденной юности.

«Что за хлопец? — подумал редактор. — Для партийного работника, присланного откуда-то сверху или для крупного специалиста, приглашенного Андреем Ивановичем, — слишком молод. Для заезжего корреспондента — слишком скромн: сидит ровненько, не развалился, не болтает, не хвастает...»

Однако заводить разговор и знакомиться редактор как-то не решался, да и мысли спутались

в голове и все разом куда-то пропали... Затянувшаяся пауза уже становилась неловкой, как вдруг послышались знакомые шаги, и в кабинет, по-хозяйски захлопнув за собой обе двери, зачесывая на ходу прямые черные волосы, возвратился Андрей Иванович.

— Что хорошего скажешь? — Он шумно отодвинул свое жёсткое рабочее полукресло и, чуть откидываясь, словно в седле, сел. — Я, как ты сам понимаешь, не особенно доволен газетой. Не особенно...

— Понимаю, Андрей Иванович, — отвечал редактор, хотя пока ничего не понимал, и кривой саблей (вчера по телевизору хорош кинофильм показывали — про гражданскую войну, про конницу) в его насторожившемся уме блеснул вопрос: «Что случилось?»

Первый секретарь пустил невидимую лошадь рысью, тряхнул чубом и перекинул в другую руку невидимый клинок:

— Нет, я вижу, что ты не понимаешь. Если бы ты понимал, то иначе освещал бы вопросы осеннего сева...

«Что за разговор при постороннем человеке? С какой стороны он ударит?»

— Где выступления людей науки? Науки! — напирал лошадью первый секретарь. — Где увлекательные рассказы мастеров высоких урожаев, которые украсят газету?

Умело, незаметно укротил редактор своего норовистого, попытавшегося встать на дыбы коня и скомандовал самому себе: «Ни в коем случае боя не принимать, уходить!..»

— Вы же знаете, Андрей Иванович, какое у меня положение...

Он спешился и открытой, незащищенной грудью пошел на вытянутое по направлению к нему остриё:

— Ларыса Васильевна, если говорить откровенно, занимается только своей учёбой!

— И пусть учится! — набычился первый секретарь, а его сытый конь звонко ударил копытом о землю. — Пусть растет нам с тобою смена. Спрашивать я буду не с нее, а с тебя.

Редактор почувствовал, как холодный кончик оружия тронул его грудь, и в отчаянии рванул на себе рубаху.

— Нет у меня людей! Нет у меня, Андрей Иванович, ответственного секретаря. А без ответственного секретаря нельзя делать газету!..

Первый секретарь любил эффекты. Он бросил саблю в ножны, перегнулся через стол и, указывая вытянутой рукой на незнакомого парня — Чапай! — повернулся к редактору:

— Вот тебе ответственный секретарь! Свеженький, только что испеченный — прямо со студенческой скамьи. С дипломом столичного университета! Полчаса назад специально для тебя на своей машине доставил. Ну — доволен?

Бывают в жизни полосы удачи! Что ни случись в такую полосу: будь то хоть горькая, вдробадан, пьянка, хоть тоскливая, как жинкино житье, командировка на отчетно-выборное собрание в дальнее, забытое Богом село, хоть неожиданный вызов первого секретаря и хоть сам чёрт знает еще, что такое, а всё обернется к лучшему! Вот попробуйте, например, предугадать, что этот тяжелый поначалу разговор закончится так, до приорности приятно:

— Ну, спасибо, Андрей Иванович! Ну, спасибо!..

И глядя почему-то не на своего нового сотрудника, а всё на первого секретаря, редактор представился: «Буцал!» и цапнул протянутую молодым человеком руку:

— Демченко, Николай...

— Еще и еще раз пребольшущее, Андрей Иванович, спасибо! — не унимался редактор. Нахлынуло! Он стоял, нагнувшись над письменным столом, за которым восседал Ворон, и, прижимая к груди кулачок, на пределе искренности благодарил первого секретаря: — За вашу заботу, за ваше каждодневное внимание...

Но первому секретарю уже наскучила эта сцена:

— А ты не спеши спасибовать. Вот как наломаете вы напару дров, да как сниму я с вас обоих штаны, да как дам по одному месту! Как тогда? Тогда спасибо не скажешь?

— Если по справедливости, Андрей Иванович, то за партийную, пусть даже самую суровую критику я всегда спасибо скажу! — никак не мог остановиться редактор.

А первый секретарь как в воду тогда глядел. Может, действительно, сверху — ему виднее?

Они вышли вдвоем из полутемного вестибюля и, ослепленные ярким по осени днем, ступили с высокого райкомовского крыльца в дымящуюся, прогретую еще горячим октябрьским солнцем непролазную грязь тихого украинского села Пивни, названного по чьей-то высокой воле городом и районным центром лет десять тому назад...

Кто-то где-то кому-то сунул на подпись бумагу о разукрупнении такого-то района и разделении его на два — маленьких; бумагу подмахнули, и вот на той же самой земле, где еще вчера хозяйничал один первый секретарь, стало два первых секре-

таря, и потребовался еще один председатель райисполкома, и еще одно управление сельского хозяйства, и еще один банк, и еще один финотдел, и еще один прокурор, и еще один судья, и еще один начальник пожарной охраны и т. д.

Словно бутылка мутного и злого самогона, призывно замаячила тогда в Пивнях руководящая — районного масштаба — должность для каждого человека с головой на плечах, «хлебной книжкой» (партийным билетом) в кармане и хоть какими-то связями...

И не то чтобы по какой-то тайной, необъяснимой причине в этом уголке Украины стало вдруг больше случаться пожаров, которые надо было тушить, или преступлений, которые надо было срочно расследовать, или денег стало так много, что не сосчитать и не вместить в одном банке, или сразу приняли в партию много новых коммунистов, которыми надо было руководить... Не стало больше ни коммунистов, ни денег, ни гектаров пашни, ни голов скота, ни кур-несушек, но тем не менее, как только разукрупнили район, тотчас же возникла острейшая необходимость в целой низке новых начальников... И как зажаренного целиком поросенка, который вмиг исчезает с блюда, ибо — только внесла его хозяйка — каждый враз приглядел для себя получше, посмачнее подрумяненный кусок, рвала местная аристократия эту богатую низку номенклатурных титулов и твердых, хоть и не таких уж, прямо скажем, высоких государственных окладов.

После пустопорожних, годами вообще никак не оплачиваемых трудовней (только и славы, что тебе в соответствии с твоей командной должностью их начисляют вагон, а твое — ведь каждый день надо жрать! — лишь то, что сумеешь украть или, если позволяет твое положение, просто

возьмешь: и хлеб, и до хлеба, и мясо, и картошку, и сало, и топливо — бо мороз иначе из хаты выгонит! — и сено для своей, чтоб не подохла, коровы-кормилицы; так вот после тех голодных и холодных трудодней казалась фантастической зарплата районного начальника, а главное, новые должности манили великой властью!..

Вы только призадумайтесь, только пораскиньте мозгами, как в подобное время может измениться вся ваша судьба! Еще вчера вы были колхозным зоотехником, вы от зари до зари ковырялись в хлеву с коровами; подошвой, навозом — вот кем вы были, извиняюсь за выражение... А кем вы стали? Пусть даже не стали вы *главным* зоотехником района, но если вы только попали в аппарат управления, у вас уже совсем другая жизнь, другой кругозор, другие интересы!.. Уже двадцать гавриков — колхозных зоотехников — составляют для вас отчетность и вам подчиняются. И не приходится вам больше целыми днями торчать в смрадном хлеву, и жена, ложась в постель, нос от вас не воротит — «Тхнэ!»; у вас теперь *чистая* работа, вы сидите в натопленном помещении, вы культурно разговариваете по телефону и не без удовлетворения замечаете, что в вашем лексиконе появляются какие-то совершенно новые выражения: «Делайте, как я вам говорю!» или «Я на вас не кричу, а просто у меня такой голос...» И в какой бы колхоз вы теперь ни приехали — проведать родича или в служебную командировку — всюду вам почет и уважение, вас ведут под белые руки, сажают за стол, кормят-поят и еще хорош, так кила на четыре, кусок сала и полбарашка в багажник машины суют: «На дорожку, на дорожку, Иван Батькович!»; а сумеете себя поставить с людьми — шагнете на следующую ступень, выше... Вот так... Словом, жестокая шла делёжка!

Каждое утро почтальонша Настя увозила на своем велосипеде за шесть километров к железнодорожной станции мешок с почтой, а в нем — добрых полмешка анонимных, друг на дружку писанных доносов:

«Бывший главный агроном колхоза имени XX съезда, назначенный начальником Пивеньского районного управления сельского хозяйства, — выводил накануне ночью печатными (чтобы не распознали почерка) буквами председатель колхоза, обойденный своим агрономом по службе, — пьяница, злобный и при немцах бул полицаем...»

«Как человек глубоко принципиальный, я не могу не поставить в известность вышестоящие органы о том, что бывший директор школы, недавно назначенный Пивеньским райотделом народного образования, — строчил, истекая завистью, завуч, — не достоин высокого звания коммуниста, так как при живой жене живет с учителькой физической культуры Антониной Ивановной Волосюрой и развратничает с ученицами старших классов Катериной Чмиль и Галиной Козаченко...»

И только железная рука Андрия Ворона, колхозного парторга, взлетевшего в ранг второго секретаря райкома партии, смогла утихомирить этот шабаш. Один особенно настырный анонимщик и еще один, открыто несогласный с назначением самого Ворона правдоискатель, положили партийные билеты на стол. Открыто несогласный еще долго трепыхался, писал жалобы на Ворона и в область, и в Киев, и даже в Москву, но получил год принудительных работ за клевету, строжайшее предупреждение прокурора о том, что в конце концов будет посажен, и — заткнулся.

В тот смутный год, когда у мятежного искателя правды еще удерживали из зарплаты двадцать пять процентов согласно постановлению суда,

и появилась куца, всего в две странички «Заря коммунизма», и первый номер ее подписал присланный на должность редактора выпускник республиканской партийной школы Гришка Буцал, инвалид с детства и горький пьянчуга, отец двоих, а потом и троих, мал малá меньше, сроду досыта не накормленных пацанов. Из числа иных, наиболее значительных перемен, происшедших в связи с превращением села Пивни в город, следовало бы упомянуть, что на колхозной чайной, которая испокон веков стояла без всякой вывески, повесили вывеску «Ресторан» (что резко подняло наценку на водку), «Сельмаг» переименовали в «Районный универмаг», и уже потом, когда Ворон из вторых секретарей поднялся в первые, выстроили двухэтажное, с колоннами, здание райкома партии, и горбатый сельский майдан, на котором стояли эти три достопримечательных сооружения, обозвали площадью Космонавтов, а во всем остальном село, каким было, таким и осталось. Летом его кривые и узкие улочки, продирающиеся меж плетней, покрывала едкая пыль, а весной и осенью, как размокропоедит — невылазная грязюка...

И вот сейчас, оставив в райкоме у вешалки незамысловатый багаж Николая: два чемодана, связку книг и узел с постелью, — чапали по заболоченной местности редактор и новый ответственный секретарь газеты «Заря коммунизма», которая, между прочим, уже третий год версталась не в две, а в четыре, хоть и малого, половинного формата, странички.

Румяный, белокурый Николай шагал в новеньких, хромовых сапогах, купленных перед отъездом по назначению, оглядывал зажиточные, под железом, дома и крытые соломой, бедняцкие, но тоже щетинившиеся телевизионными антеннами

хаты и, довольный, щурился на октябрьское солнышко. Доволен он был и своими непромокаемыми сапогами, как обычно радуется человек удачно приобретенной вещи, и своей новой, так громко называвшейся должностью, в которой он на новом месте начинал новую жизнь. И всё это тихое, увязшее в болоте по осенним дождям село, и тихий однорукий редактор, и так откровенно расположенный к нему, Николаю, руководитель района, что в пять минут уговорил его, встретив утром в отделе кадров обкома, ехать к нему, в глубинку («Вот где подлинный простор для пишущего человека: людей по-настоящему узнаете, роман или киносценарий потом создадите. Перспектива!») — всё это и перспектива создать роман нравилось Николаю и хорошо сочеталось с тем ощущением молодости и свободы, которыми он был сейчас проникнут.

Газетчики вполне благополучно форсировали площадь Космонавтов и по дороге в редакцию заглянули в «Районный универмаг», полутемную и тесную хату, до отказа забитую товаром, никому ненужным в селе.

— Корейские авторучки! — громко дивился Николай и хотел было купить сразу две, еле-еле его отговорил редактор.

— Таких авторучек в Киеве днем с огнем не найдешь! — восхищался Николай. — Даже если сегодня и выбросят, так назавтра точно не будет...

— Это тебе не Киев, — сказал редактор. — Будут те самые ручки и завтра. Можешь не волноваться, кроме тебя, их здесь никто не купит...

Но ему было приятно, что Николаю нравится село, что он не клянет грязь и вообще не выставляется.

— Нейлоновые рубашки! — искренне восторгался Коля. — Французские! Вот Эйфелева башня на воротничке...

— Символ Парыжа, — сказал редактор. Он умел так это, тактично, дать понять, что тоже кое-что собой в культурном отношении представляет.

— А джемпер импортный, девушка?

— Кто его знает? — сказала девчонка-продавщица в телогрейке, что стояла, прислонившись к полкам спиной. — Шестьдесят рублей стоит — никто не берет.

— Покажите, пожалуйста.

— Так вы ж тоже не купите.

Но все-таки она достала измятый, изжёванный, словно у собаки из горла, элегантный, мягких серых тонов английский джемпер.

Конечно, Николай не купил его: цена кусалась! — но велел продавщице отложить для него эту вещь с тем, что он непременно зайдет за нею через две недели, в первую же получку.

— И чего это я стану откладывать? — резонно возразила продавщица. — Как лежит, так и будет лежать.

— У тебя вся получка будет шестьдесят рублей, — сказал редактор, когда они вышли. — Одному прожить можно, но барахло покупать особенно не разгоняйся...

— У нас в Киеве такой оторвали бы с руками. Не то что за шестьдесят, за восемьдесят!..

— Это тебе не Киев...

Они проходили мимо бывшей чайной, украшенной вывеской «Ресторан», и редактор замедлил шаг.

Был у редактора давний, еще со времен учебы в партшколе, друг, с которым он никогда не расставался, — верный, умный и очень порядочный.

Когда, например, вечером в общежитии хлопцы скидывались на вторую поллитру, друг всегда говорил редактору, который, кстати, тогда еще и не был редактором: «Тебе это совершенно не нужно. Ты потом не сможешь остановиться, и завтра снова будет болеть голова. Пусть они себе пьют, а ты садись и учи. Учи, Гришка! Ты ж потом кровавыми слезами плакать будешь! А трёшку эту вместо того, чтобы пропить, лучше послать жене — она сидит без копейки!»

«— Я в последний раз!» — твёрдо обещал другу редактор.

«— Ну, смотри, — говорил друг. — Но чтоб это действительно было в последний раз».

Друг во всех отношениях был лучше редактора, но всё равно искренне его любил и легко прощал ему маленькие человеческие слабости. Ах, если бы вы только знали, какие он давал редактору советы! Подчас — просто неоценимые!

Бывало, засыпется редактор на экзамене по историческому материализму; забудет, допустим, четыре основные условия постепенного перехода от социализма к коммунизму. Два помнит, а два — хоть убей!.. Выйдет из аудитории — конченный человек. Отмахнется от однокашников, спустится по лестнице, света белого не видит... Могут и стипендии лишить, а могут и совсем за неуспеваемость отчислить... Идет редактор, не разбирая дороги, и думает: «Надо выпить!», а друг ему говорит:

«— Возьми себя в руки и вернись».

«— Зачем?»

«— Дождешься, пока кончится экзамен, пока выйдет Прокоп Прокопович, подойдешь к нему и скажешь: «Прокоп Прокопович, разрешите с вами поговорить».

«— А Прокоп Прокопович, — упрямылся редактор, — скажет: «О чем теперь говорить? Надо было учить как следует, Буцал».

«— И будет совершенно прав! — с жестокостью отвечает друг. — Но ты ему так и скажешь: «Вы, Прокоп Прокопович, безусловно правы. Просто я (вы только ничего такого не подумайте!) хотел пригласить вас выпить по стакану вина...»

«— А Прокоп Прокопович скажет: «По-моему, Буцал, это ни к чему...»

«— А ты настаивай! «Прокоп Прокопович, мы же с вами взрослые люди, мужчины! Что же, я не имею права угостить своего любимого преподавателя по самому любимому, хотя и трудному предмету?..» Вот попробуй!»

Редактор попробовал. И за весь вечер, даже когда они уже совсем напились (и никаким не вином, не беспокойтесь! — и платил всё время редактор), об экзамене, о злополучной двойке он, как ему и велел друг, не обмолвился, не заикнулся!

— Не идет мне коньяк, — стонал на другой день редактор. — И столько денег потрачено даром...

«— Нет, недаром! — с какой-то необъяснимой уверенностью говорит друг. — Вот увидишь...»

И точно: в перерыве между лекциями Прокоп Прокопович сам подходит к редактору в коридоре:

— Ну, Буцал, учил?

— Учил...

— А выучил? Основные условия постепенного перехода знаешь?

— Теперь, Прокоп Прокопович, хоть ночью разбудят — отвечу!

— Сколько же тебе поставить?

— Поставьте троечку...

— Ха! Га! Почему же так мало?

А друг (такой находчивый!) тут же подсказывает:

— Один только Бог, Прокоп Прокопович, знает на пять, вы — на четыре. А я — на три...

— Ха-га-га! — И Прокоп Прокопович, которому нравилась скромность, рассмеялся и поставил «отлично».

Вот как можно посоветовать! Все, решительно все неприятности случались у редактора только тогда, когда он не слушался своего задушевного друга. Но друг по этому поводу не злорадствовал и неудачи редактора принимал близко к сердцу, как свои собственные.

Этим замечательным другом редактора был его внутренний голос.

И едва редактор, проходя с Николаем мимо ресторана, замедлил шаг, а внутренний голос уже начеку, уже предупреждает:

«— Учти, даст жена прикурить за это дело!»

«— Да что же это в самом деле! — с возмущением отвечает внутреннему голосу редактор. — Приехал свежий человек, мой ответственный секретарь...»

«— У тебя каждый день находится повод, — хладнокровно отвечает внутренний голос. — Но мы, кажется, договорились: зарплата ж е л е з н о отдается жене!»

«— А ты не суйся, когда тебя не спрашивают! Не имей такой привычки!» — разозлился редактор и отвернулся к Николаю: — Давай, Коля, зайдём, выпьем по свои сто грамм за приятное знакомство. Пообедаем скромненько...

— С удовольствием! — сказал Николай и, несколько не догадываясь о ссоре редактора с его ближайшим другом, шагнул к открытой двери.

— Только не сюда, — остановил торопливого, совсем еще зеленого парня редактор. — У нас имеется свое, особое помещение: для ком-, так сказать, состава...

Они обогнули чайную по асфальтированной дорожке, прошли мимо окон, сквозь которые был виден общий, с земляным полом, зал, где пять-шесть мужиков в телогрейках пили из щербатых кружек прокисшее пиво и ковыряли в алюминиевых мисках рубиновые, крупно нарезанные куски свеклы — винегрет; и редактор на ходу пожал плечами: дескать, и мы туда же?..

В самом конце длинной глинобитной стены ресторана имелась узкая неприметная дверь. Редактор потянул ее к себе, и она открылась.

В помещении для комсостава был настелен деревянный пол, мерцал фужерами громоздкий сервант, подобранный под цвет полированных панелей, и стояли два стола: один большой — для компании, посередине, а в углу, под сенью чахлого фикуса, — маленький, на четверых. За большим столом в одиночестве сидел багроволицый мужчина лет пятидесяти и, нацепив на вилку непомерный свиной биток, обкусывал его по краю и отдувался: от мяса шел горячий пар.

— Прятного аппетита, — застенчиво сказал редактор.

— Угу! — сказал мужчина.

— Вот, зашли пообедать, — нарочито бодрим и в то же время извиняющимся тоном продолжал редактор. Он раскаивался, что затянул сюда Николая: не положено было ему по чину приводить с собой еще кого-то в эту комнату, и потому, усаживаясь в уголочке, под фикусом, он всё еще тащил колымагу разговора, тяжелого и совершенно неинтересного ни ему самому, ни тем более багроволицему:

— Андрей Иванович привез нам сегодня пополнение, ответственного секретаря. Из Киевского университета...

— Угу... — отвечал мужчина. Левой, лежавшей до сих пор на столе без движения рукой, обтянутой черной перчаткой, он отодвинул подальше от себя тонкий стакан с красноватой пеной по краю, подул на дымящийся биток, висевший на вилке, как знамя, и впился зубами в мясо.

— Председатель райисполкома! — шепнул Николаю редактор.

Появилась официантка в белом, надетом поверх телогрейки фартушке:

— Драстуйте...

— Привет молодым работникам общественного питания! — в шутку сказал редактор. — Ты принеси нам пообедать, Нина, и пожалуйста... (покосился на мужчину) граммчиков так по сто...

— Тры по сто в один стакан! — отчеканила коротконогая, задастая Нинка.

Несколько лет назад прочно укоренился в Пивнях этот обычай — со времен последней в общегосударственном масштабе кампании по борьбе с самогоноварением и пьянством. По этому обычаю подавать водку в бутылках или в графинчиках днем в комнату для комсостава считалось неприличным, и приносили ее в тонких стаканах, да еще для отвода глаз закрашивали томатным соком. И правильно делали: нечего рекламировать, что начальство в рабочее время пьет! Считалось, что Нинка наливает в стакан двести граммов водки и пятьдесят граммов томатного сока. Но это, конечно, так только считалось, потому что, сами понимаете, пойдя проверить ее. Однако пилось это поило легче, чем буряковый самогон или та же самая, только без томатного сока, полученная химическим способом из газа и плохо очищенная водка; и ори-

гинальное название смеси тоже прижилось в Пивнях.

— Что это такое? — подивился Николай двум стаканам с ржавого цвета жидкостью, которые официантка выставила на столик вместе с селедкой, непременно винегретом и жареной украинской колбасой.

Нинка фыркнула и посмихнулась молодому симпатичному:

— От попробуете...

— Это коктейль, называется «Кровавая Мэри», — поучительно сказал редактор; председатель райисполкома уже ушел, и теперь он оставался в комнате для комсостава за старшего. — Ну, Коля, с приездом!

Выпили. Быстро исчезла и селедка, и колбаса, и несъедобный даже под «Кровавую Мэри» винегрет, а Нинка уже несла, купая в вареве квадратные кончики больших пальцев, две тарелки ароматного украинского борща.

— Повторим? — предложил Николай. Второй стакан пить ему не хотелось, но он считал чрезвычайно важным сразу же зарекомендовать себя перед своим редактором человеком, умеющим крепко выпить, и вообще хоть и молодым, но до мозга костей прожжённым журналистом.

«— Гришка, остановись! — приказал внутренний голос. — Ты говорил — «сто», а уже выпил двести! Как, по-твоему, это честно? это порядочно?»

— Постой, — сказал Николаю редактор. Ему *очень!* хотелось выпить еще, и он торопливо высчитывал в уме, сколько сегодня получил зарплаты, сколько надо — минимум! — отдать жене и сколько Нинка посчитает за то, что уже подала, плюс два рубля за два битка с картошкой на второе. По деньгам получалось, что заказывать еще

по стакану было нежелательно, и внутренний голос тоже был против, и редактор сказал: — А не будет ли это много?

— Много? За кого вы меня принимаете!? — возмутился Николай. — Или мы с вами не можем пропить по такому случаю десятку?

— Не в деньгах дело, — неискренне сказал редактор. — Я просто хочу напомнить, что тебя сегодня еще на квартиру определить нужно...

А Нинка рада стараться: уже тащила наполненные красноватой жидкостью стаканы. Во второй порции, которую она подавала захмелевшим и к тому же не особенно важным посетителям, водки, естественно, было поменьше, а соку побольше — руб, как штык, на стакане имела!

Вот так, когда по рублю на стакане, когда по полтиннику с обеда или с ужина большой компании, возле которой не один час намаешься: подай им то, принеси им сё — официанткой! — начинала когда-то Лариска, Лариса Васильевна...

Как-то поздней осенью, когда Андрей ходил еще во вторых секретарях, накануне пятидесятилетия Советской власти, нагрянул в Пивни Алексей Прокофьевич, хозяин. Нагрянул вечером, уже затемно и совсем неожиданно: ни одна душа предупредить не успела, как вдруг его длинный черный ЗИМ (теперь уже никто не ездит на ЗИМах) остановился возле двухэтажного дома, в котором тогда помещался райком. Выскочил из машины помощник, подергал райкомовскую дверь — заперта, и в окнах кабинетов свет не горит.

— Что-то рановато, раньше меня здесь, я вижу, в Пивнях, кончают некоторые товарищи работать, — невесело ухмыльнулся хозяин, а подлец-помощник (будто это не он, а кто-то другой — дядя! — там тридцать раз напивался, как свинья) не преминул тут же указать хозяину, что вон, мол,

светится в чайной, Алексей Прокофьевич, одно небезызвестное оконце; и вот, как гром среди ясного неба, в самый разгар пьянки, — когда каждым уже было выпито где-то за литр, и водка больше не брала, и в ход пошел принесенный из дому в Ларискиной кошёлке французский коньячок «Сам-жэнэ» — семидесятиградусный первак! — рванул хозяин входную дверь комнаты для комсостава и остановился на пороге: малый, остроглазый и грозный; из-за его спины выглядывали и понимающе перемигивались между собой помощники да инструктора, а над их головами зияла черная ветреная ночь, озаренная первым снегом...

— Пьешь-гуляешь, мать твою туда-растуда! — рывкнул с порога хозяин, когда Андрей, вскочив из-за стола, бросился встречать его, неожиданного. — Пшеница под снег уходит, а ты пьешь!

И все, кто еще минуту назад — прихлебатели! — горланили любимые его, Андрея, песни и, видя, что он улыбается, до пьяных слез гоготали над каждым брошенным на стол анекдотом, — враз стихли, языки прикусили, и хоть один посмел бы сказать хоть полслова! Дрогнул, конечно (да и кто бы не дрогнул?), от этого окрика Андрей, но — ни шагу назад! — и виду не подал:

— Да как же нам, Алексей Прокофьевич, не выпить, когда приближается такой, понимаете, праздник!? Когда пятьдесят лет нашей матери скоро...

— Какая она тебе мать, наша Советская власть? Те, кому она мать (мать твою в рот и под ребра!), *трудом!* этот праздник встречают!!

— Я даю вам честное партийное, Алексей Прокофьевич, слово, что ни один колос не оставим необраннным в поле!

Но какой там колос! — когда уже кончается октябрь, когда ночами подмерзают лужицы и, если

что-то и не осыпалось из колосьев на бескрайних, от горизонта до горизонта, полях, то всё равно хлебá, которые уже к июню вымахивали по грудь, покрутило осенними ветрами с дождем, и массивы необранной пшеницы превратились в отвратительное месиво из соломы, грязи и зерна, что теперь прорастёт весной и вместе с сорняками высосет из истощенной земли всё, что в ней еще оставалось!.. И хотя не высказал этих горьких слов хозяин, а не высказал он их потому, что и сам перед вышестоящими товарищами был в ответе за этот погибший хлеб, были они сейчас и у него, и у всех остальных на уме... Как собачий сын, притомился за шестнадцатичасовой рабочий день Алексей Прокофьевич, но не пошел он, не сел за стол, а стоял на пороге, засунув руки в карманы своего длиннополого, с квадратными плечами ратинового пальто, сверлил глазами постыдное пьяное сборище своей номенклатуры и, кто знает, быть может, уже о мерах, о расправе подумывал; может, уже в его голове составлялся так это, в общих чертах, проект решения: «*слушали* — об уборке зерновых в Пивеньском районе; *постановили* — ...», а над ним за распахнутой дверью в черном небе катилась по ветру красноватая полная луна, будто снятая с плеч голова зарвавшегося, несправившегося и жестоко покаранного партийного работника...

Искося зыркнул Андрей на застывшую у громоздкого серванта Лариску: девка, спасай! И спасла его эта девка.

Высокая, текучая красавица с толстой косой, — даром что в телогрейке! — глянула она прямо в гневные очи хозяина, подошла и взяла его, малого, злого, под руку:

— Я до ваших дел, Алексей Прокофьевич, не касаюсь; только я сейчас тут хозяйка. Кто бы в

этот дом ни зашел, хоть и сам Петро Ефимович зайдет, всё равно — должен сесть и, первое дело, хорошо покушать. Горяченького... Дорогие гости, прошу к столу!

Поклонилась картинно, в пояс — на пол упала коса! Повела его, и пошел-таки с нею хозяин! И на душе уже легче, как он сел за стол.

А Лариска, ей и тогда уже два раза одно и то же говорить было не надо, метнулась в кухню, шепнула заведующей — *кто приехал!* — скинула тут же, хоть и холодно было, и телогрейку, и портивший ее дешевый свитер, и в голубой прозрачной кофточке (голубые плечи, голубая грудь, а там, где кончался короткий рукавчик, начинались полные розовые руки — двадцать лет и добрых девяносто килограммов здоровья и сладким потом пахнущей любви!), неотразимая, как судьба, она выплыла в комнату с блюдом черной икры и блюдом рыбного заливного, а за ней коротконогая посудомойка Нинка несла на подносе особую, каспийскую — из баночки — селедку, сыры-колбаски и прочие нехитрые закуски, а заведующая уже что-то там хлопотала у стола: вилку слева, ножик справа — дура старая! — кому это нужно выставлять сейчас свою ресторанную образованность! Ловко бедром оттеснила Лариска ее от хозяина и легла голубой горячей грудью ему на спину:

— Может, вам не водочки, Алексей Прокофьевич, а коньячку — по сырой погоде?

Ух!!

Как по-вашему: если он член президиума ЦК и хозяин двухмиллионной области, так он не из того же самого, что и мы с вами, теста сделан? Или, может, вы думаете, что он так уж особенно балеринами и разными другими артистками театра музыкальной комедии, имевшегося в его области, был избалован?

Обернулся хозяин и, казалось бы, чего уж ему-то шептать? — но голос осекся и шепчет куда-то в теплую Ларискину шею:

— Давай коньячку, молодая хозяйюшка...

И сладко при этом краснеет — как школьник, как дурачок!.. Конечно, повидал он на своем веку стóбящих баб, но всё-таки возраст есть возраст, и дело в основном приходилось иметь хозяину не с прекрасным полом, а с серьезными бумагами да строгим начальством. Вот и заёрзал он, придавленный к стулу тяжелой Ларискиной грудью:

— Это армянский и разлив Ереванский... Для самого приятного гостя бутылочку сберегла...

— Ну, тогда — не за них же я буду пить! — за твое здоровье, славная ты дивчина...

Сходу усек Андрей, что означают для него эти хиханьки-хаханьки, и, взбодренный тем, что правильно понял ситуацию, что не ошибся, не дал промашки в этот черный миг, поднялся над столом:

— Прошу всех наполнить бокалы! Разрешите два слова, Алексей Прокофьевич?

— Сядь!

— Извиняюсь, но всё-таки я скажу... Накануне приближающегося великого праздника я предлагаю выпить за нашего руководителя, нашего строгого, но мудрого воспитателя и (прямо так это, с надрывом): *отца!* — первого секретаря областного комитета партии — Алексея Прокофьевича!

И, стоя, в один дых, выпил и со стуком поставил стопку:

— Будете самэ строго наказывать, Алексей Прокофьевич, — наказывайте. Всё равно я эти самые слова повторю: воспитатель, отец!..

А холуи, и обкомовские, и свои, местные, загудели:

— Батько!.. Батько...

Где-то тут же, за столом, в уголочке, жался, схватывая этот урок жизни, редактор, и только легкий морозец гулял у него по спине... И видел редактор, что не по воле Андрея и не его — чьей-то чужой, тайного завистника рукой была подброшена в тот вечер под самый потолок бешено вращающаяся копейка всей дальнейшей карьеры второго секретаря райкома при уже отходившем на больничной коечке, в отдельной палате, первом — после тяжелейшего кровоизлияния в мозг... И хотя метать ту копейку Ворон не метал, но — мастак! — вовремя прихлопнул ее, упавшую решкой, а открыл и показал уже всем свою удачу — орла!.. Что — съели?

Только мигнул — и тут же незаметно исчез из комнаты дошлый, надежный порученец, и что было духу помчался на райкомовской машине (сам за рулем!) за семь километров в гостиницу сахарного завода, что была поставлена не в селе, не на виду у всех, и где имелся хорош, как положено, чешским гарнитуром обставленный номер с двумя отдельными выходами, с ванной, теплой уборной (единственный во всем районе унитаз, но зато тоже чешский!); не шалая-валяя, продуманно во всех отношениях был приспособлен этот сельский люкс для именитых приезжих и непоказных барских утех.

Порученец — сразу к комендантше: «Живо, Пилиповна, хто там ни есть — поднимай!» Деликатненько постучалась старуха в дверь номера, но вышел на крыльцо порученец и сам, как следует, властно стукнул в темное занавешенное окно, и через пять минут две фигуры — мужская и женская — прошмыгнули с другого выхода за калитку...

Как был, в сапогах — по коврам — прошел порученец в спальню: постель растерзана, в бутылках — недопитое; накурено, наплевано...

— Быстро перестелить, убрать! И смотри мне в оба, чтоб всё было тихо, культурно. И сама не суйся сюда. И язык, язык, Пилиповна!

— Не волнуйтесь, я свою службу знаю...

Понимала Лариска, что выпендриваться тут неуместно, что ее собственная, не только Андрея, сейчас, быть может, решается жизнь, и, как набрались высокие гости (а хозяйева, хоть и пили с ними на равных, но уж только трезвели от выпитого), сунула в свою кошёлку бутылочку — не армянского коньячку, не горилки с перцем, не вина — кефира! — чтоб легче ему, загулявшему батьке, вспомнилась поутру эта ядрёная и так смело подаренная ею ночь,хватила на кухне чей-то недопитый фужер водяры и первой махнула туда, в гостиницу, на всё той же райкомовской «Волге» высокой посадки (иначе не проедешь, забуксуешь по бездорожью), и первой наутро оттуда ушла, незаметно, пешком, по колено в грязи, когда он еще спал — до рассвета...

Хоть и крепко поддал с вечера за столом Алексей Прокофьевич, но не забыл он ни честного партийного слова Андрея, ни нежных, как масло, Ларискиных прелестей, ни бутылки кефира, припасенной на утро с такой искренней, доброй заботой — хорошая девушка!..

Был и Андрей не из тех, кто не держит слова или не помнит добра. К полудню на следующий день съехались вызванные за ночь телефонограммами председатели всех двадцати колхозов, чтобы выслушать краткую, но убедительную речь Ворона, еще второго тогда секретаря:

— Я не посмотрю на прошлые заслуги. Я вообще ни на что не посмотрю! Я как сраного кота

из партии вышвырну каждого, кто только попробует разнарядку по хлебу не выполнить! Святой, юбилейный год — ясно!?

Куда уж ясней... Только где его взять — этот хлеб? Не достанешь теперь из-под снега...

— Это ты, хлебороб, меня спрашиваешь, где тебе взять хлеб? Да хоть у себя, хоть у жинки в ж... возьмешь, если с поля не взял! Ты под суд захотел, алкоголик?

Дошло. Прикупили зерна у соседей. В Крым мотнулись бойкие людишки, — потянулись в Пивнях на элеватор грузовики с чужим зерном. Степь по ночам пылала огнями тракторных фар, от зари до зари гудели в степи моторы: запахивали председатели свой позор — неубранную пшеницу; и уже в конце следующей недели, в последний перед праздником день докладывал Ворон лично Алексею Прокофьевичу: «План хлебосдачи по Пивеньскому району выполнен на сто и четыре десятых процента!»

Чуть слеза не прошибла от собственных гордых, торжественных слов, а хозяин и без доклада всё знал, да и сам Андрей уже тоже знал из надежных источников: не сегодня-завтра быть ему первым! Но еще и другого, не менее желанного события ждал Андрей с замиранием пылкого сердца. Щедро, как никогда, в юбилейный год раздавала Москва награды. А награды за труд — это вам не боевые награды, их не вручают посмертно.

Невыгодно, неинтересно зарывать в землю ордена, которые должны поднимать энтузиазм, призывать людей на трудовой подвиг и борьбу с постоянно возникающими всё новыми и новыми трудностями. Нехорошо это, политически ошибочно — дать покойнику орден. Скажут люди: «Вот, сначала свели в могилу человека, а потом дали цацку — зачем ему теперь она?» И никогда на

страницах «Известий» или «Правды» не отыщете вы указ о посмертном награждении доярки, сви-нарки, академика или секретаря райкома...

Не поднялся, не оправился от инсульта предшественник Ворона, год назад представленный к Золотой звезде. Похоронили его с почестями, про-изнесли над могилой речи: «Прощай, дорогой то-варищ, память о тебе будет вечно жить в наших сердцах!», а Звезду-то, Звезду! — уже распреде-ленную на область, не хотел терять Алексей Про-кофьевич. Не по-хозяйски это, если кто и умер, утратить правительственную награду. Особый счёт здесь идет. И как выращенное поголовье ско-та, как тысячи тонн засыпанного в закрома зерна, как средний надой молока, определяет работу об-кома партии еще и такой показатель: сколько ор-денов и медалей получено областью, сколько было воспитано в каждом районе знатных тружеников и героев труда. И вот — жаловать, так жаловать! — кинул Алексей Прокофьевич своему ставлен-нику еще и Звезду, которая сразу же упрочнила положение Ворона, закрыла рты тем, кто был не-доволен его повышением, и заставила всех шеп-тать по углам: «Он теперь далеко пойдет!», а дру-зья при этих словах прибавляли: «Если его не ос-тановят...»

Не успел Ворон принять дела и награду и пе-ребраться в тот самый кабинет за двойной звуко-непроницаемой дверью, что был напротив его ка-бинета (казалось бы, только перейти через прием-ную, но если бы вы только знали, как на самом деле было до него далеко!), а в чайную уже загля-нули хлопцы из районного ОБХСС. Составили акт: отсутствует штамп «ресторан» на этикетках водоч-ных бутылок (а ресторанный — 40 процентов! — наценка, значит, идет в карман!!), в бочке обнару-жено разведенное (подтверждено экспертизой)

пиво, мясо — неклеименное, левый товар, недостача в кассе 28 рублей и антисанитарное состояние на кухне; они и врача из санитарного контроля заодно с собой прихватили. Правильно понят был тонкий намек руководителя — «всё проверить как следует!»

Заметалась заведующая — что делать? Триста, пятьсот, тыщу! рублей им сует — не берут паразиты... А давала она им прежде в месяц по четвертаку, ну, зайдут иной раз среди месяца, так бутылку поставит, сунет десяточку, и уходят довольные, а тут, как с цепи сорвались: «Акт будет передан, куда следует» и никаких... Нет спасения — бухнулась в ноги Андрею:

— Андрей Иванович, всё, что угодно, только не тюрьма! Умоляю — спасите!

И ведь сколько она его, кабана гладкого, кормила-поила, и не его одного, а с дружками и с дружками, и разве ж когда взяла хоть копейку!?

Неужели у людей совсем уже совести нет? Неужели не вспомнит?

Но Андрей ничего не забывал, всё помнил. Позвонил. Принесли ему акт, принесли личное дело заведующей. Украинка, замужняя, член партии, родственников за границей не имеет, десять лет заведует чайной... «Десять лет воровства! — думает, листая дело, Андрей, — и умелого: вот, черным по белому — записаны одни благодарности...»

Заглянул в автобиографию — двое взрослых детей в люди вывела, внуки... Но главное — 1912 года рождения. Как раз в 1967 году ей 55 лет исполнялось. Разорвал Андрей тут же, на глазах истомившейся страхом заведующей этот акт, улыбавшийся тюремной решёткой: «Что ж, не будем марать биографию вашим детям...» И велел он с почетом, с подарком (пылесос «Ветерок» ей за

тридцать рублей купили) проводить заведующую на заслуженный отдых, на пенсию, значит, и стала Лариска в свои двадцать лет командовать Пивеньским рестораном.

Брала она, конечно. Да и кто теперь не берет? В Киеве, говорят, не берет один только Богдан Хмельницкий, что сидит на коне посередине одноименной площади. И то почему: в одной руке у Богдана уздечка, а в другой — булава... Но как оно на самом деле, так это ж тоже еще никому не известно, потому что, говорят, и он, Богдан, кажется, берет! Но всё это шуточки, а если по-серьезному: если ты, да еще в особенности на такой блатной работе, не будешь брать, — возненавидят тебя твои же товарищи и, оглянувшись не успеешь, как на годы в лагерь упрячут... И брала Лариска, но ведь для себя одной — не так люто, как семейные люди.

Не таскала она эти вечные, сверх уже всяких денег, отрывающие руки кошёлки с мясом, маслом, мукой, яйцами, сахаром и прочей жратвой; с буфетчицы и с официанток после смены когда возьмет, а когда и не возьмет, казалось бы, такую уж законную десятку! Не шпыняла она безответную Нинку, дорвавшуюся, наконец, до живых денег, допущенную в зал и произведенную из посудомоек в официантки, и себя соблюдала. Нет, не по ней эта должность! Приезжал из области зав сельскохозяйственным отделом — не дала, зав отделом капитального строительства предлагал ей новый ресторан построить! — не дала, а инструктора обкома по печати (ведь такой нужный был редактору человек — «Зарю коммунизма» курировал) взяла да и съездила по морде. Вот проститутка!

Но еще раньше, чем произошел этот скандал (инструктора тогда чуть было с работы не сняли:

очень Алексей Прокофьевич рассердился — кулаком по столу!), и еще до того, как получила Лариска изолированную однокомнатную квартирку и пошла молва, что она с первым секретарем райкома партии подживает, тиснул редактор в свою газетёнку собственного сочинения фельетон «Сорок и сорок = руб. сорок», что, мол, обсчитывает Нинка посетителей в ресторане. Впрочем, и это было бы еще ничего, но однажды, уже после фельетона, вздумал Буцал по пьяной лавочке помириться с Лариской; уж очень она была притягательная! Подозвал ее редактор к столику, как раз они сидели тогда под фикусом вчетвером: работник райкома Гулый, начальник милиции капитан Собакин, редактор и угощавший их всех местный из райфинотдела поэт, напечатавший недавно в газете свой первый стих «Я в родную партию вступаю...». Так вот, будучи уже хорошо на газях, подозвал редактор Лариску к столику и говорит:

— Давайте, Ларысса, выпьем с вами за мир и дружбу!

Нежно взяла Лариса его пьяную и потому чересчур проворную руку, приобнявшую ее так это сразу пониже фигурной талии и тут же быстро-быстро шмыгнувшую вверх по скользкому чулочку, — да как брякнет ею изо всей силы об стол! Больно! Прыгнули рюмки, от неожиданности вздрогнула вся компания, а фужер с томатным соком опрокинулся и — прямо редактору на брюки! Были у человека приличные, от единственного костюма, штаны — так на тебе...

— Ну, как поломаю я вам этот ваш последний инструмент, чем тогда фельетоны строчить будете? Водку же потом до рта не донесете.

С грязью при людях смешала, в посмешище превратила и пошла... Королева!..

А вечером, лежа на широкой двуспальной тахте в своей чистенькой, убранной, как лялечка, квартирке, усталая от тяжелого дня (ведь целый день на ногах!) и тяжелой, после стакана водки, любви Андрея, она попросила его, что бывало нечасто:

— Не хочу я, Андрюшенька, больше этих гешефтов. Люди ведь ни в чем меры не знают (и то правда!) — посадят они меня... А я как-никак десять классов еще тот год кончила. Мне бы учиться...

Ну как не любить такую бабу? Ведь больше, чем он, Андрей, если б только захотела, могла бы иметь! Другие за такую должность на что угодно пойдут, а она — только на ноги встала, копейкой обзавелась и сама же отказывается! Забрал Андрей Ларискин аттестат зрелости, поехал в областной учительский институт, поговорил как следует с директором, или там с ректором, и посреди учебного года привез своей зазнобе студенческий билет и чистенькую зачётную книжку: «Учись, моя ласточка!»

Месяц-другой Лариска поработала в школе, но трудновато с детьми. Перешла она в школу сельской молодежи, вечернюю — Андрею не нравится: всё она занята, всё у нее уроки по вечерам и ученички, понимаешь, лбы здоровенные, после уроков домой ее провожают... И как-то раз, днем, на площади Космонавтов редактора районной газеты встретил первый секретарь:

— Здоров, прэса!

Остановился, руку пожал:

— Что хорошего скажешь?

— Работаем, Андрей Иванович...

— Я знаю, что ты работаешь. И прямо тебе скажу: неплохо работаешь, неплохо... Но я хочу, чтобы наша газета была еще лучше! Есть у меня

подходящий для газеты человек — на ставку литературного сотрудника, или, как это у вас там, работников печати, называется — корреспондента.

— Литературный сотрудник, Андрей Иванович, нам по горло, по самую завязку нужен! — с выразительным жестом отвечал редактор. — Я ж один, как вы знаете, пишу всю газету. Слава Богу, что только еще не рисую... А кого же вы нам рекомендуете?

— А Ларысу Васильевну...

— Кого?

— Ларысу... Молодая толковая женщина. Как раз вчера была у меня на приеме...

«Это ты, видать, сам побывал у нее на *хорошем* приеме!» — подумал редактор.

— Помогите, говорит, с трудоустройством по новой специальности, поскольку я, говорит, теперь студентка-заочница. Это самое верное дело, прэса, растить свои кадры. Ты смотри, не прозевай, она — человек с будущим!

До чего ж неприличный это был разговор! Мало сказать «неприличный», — бессовестный!

— Андрей Иванович! — взмолился редактор. — У меня же одна-единственная ставка, я же ноги совсем уже скоро протяну... Но я всё надеялся, что сумею подобрать себе помощника. А если я на эту ставку да возьму Ларысу Васильевну, — кто же тогда работать будет? Тогда лучше сразу — ложись и помирай!

— Да что я — тебя заставляю? — неласково спросил первый секретарь. — Я только посоветовал, а ты решай сам...

— Не могу я, Андрей Иванович, — отрезал редактор, — идти на такие вещи... Вы войдите в мое положение!

— Знаешь, а ведь ты дурак! — разозлился Андрей Иванович. — Дурак ты был, дураком ты и остался.

И ушел. А редактор — он до сих пор себе этого простить не мог! — в тот же вечер с перепугу побежал домой до Лариски:

— Мыр, Ларысса Васильевна! Мыр и дружба.

— А я с вами не ссорилась.

— Мне Андрей Иванович дал сегодня прекрасный совет, я не сразу его оценил...

С той минуты (ведь как он смотрел на нее, подомашнему распиравшую пышным телом заграничный халатик — только что не облизывался, а в то же время ненавидел и ее, и ее Андрея) знала Лариска, что всегда: и когда он дрожит от гнева, и злоба в кривую букву «о» выворачивает его рот, и когда он пьяный, и когда он трезвый, стóбит только ей шевельнуть своей выщипанной в ниточку бровью — упадет на колени, обхватит своей клешней ее ноги и засветится счастьем. Презирала. И Андрей его презирал. За слабость характера.

Да и что хорошего из всего этого вышло? Вместо того, чтобы шевелиться на своей новой, беспкойной работе (знаете песню журналиста: «Трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете...»), бездельничала в редакции с утра до вечера зеленоглазая русалка, верстальщик Сашка паялил на нее глаза и загонял строки, но русалка желала шевелиться исключительно под высоким начальством, редактора она к себе и близко не подпускала, за какой-то месяц окончательно скурвилась и, что хуже всего, стала от скуки сплетничать.

— Мне поступают сигналы! — чехвостила редактора первый секретарь. — Ты пьешь в рабочее время! И хоть бы знал, с кем ты пьешь...

— Да что же я, Андрей Иванович, не могу угостить своего однокашника из республиканской газеты? Мы же вместе с ним в высшей партийной школе учились...

— Твой однокашник долбаёт в сегодняшнем номере наш район! И не знаю я, что ты ему там болтал! Если ты уже пьешь, то хоть знай количество, время и место!

Но простите, какая же это критика? Такое каждому можно сказать... И это же еще не всё!..

— Мне опять поступают сигналы, — грозил, пряча улыбочку, первый секретарь. — Ты, оказывается, в редакции х..м по стенкам стучишь! А? Ты смотри, ты у меня достучишься... Ты же знай — с кем, ты же знай — где, неприличный ты человек!

Представляете, до чего дошла в последнее время Лариска! Нет, не дошла — докатилась... Только так, не иначе, определял про себя редактор всю бесконечность Ларискиного падения. Она изобрела (именно изобрела!) своим хитрым бабским умишком самое подлое, самое изощренное оскорбление по поводу его физического уродства. Это оскорбление начисто уничтожило героическую и прекрасную легенду о том, что редактор лишился руки в партизанском отряде, мальчишкой... Конечно, верить в это никто не верил (ибо есть анкеты, где подобные вещи указывают), но ходила по селу — и кому она мешала? — такая славная байка, просто спутанная с правдой. Он действительно остался без руки еще мальчишкой, но не в партизанах, а просто по детской дурости, уже в послевоенный год... Оторвала ему руку рванувшая не вовремя старая мина, в которой они вдвоем ковырялись вместе с другим пацаном, тоже Гришкой, — рыбу в Днепре собирались глушить... Одного Гришку эта мина лишила жизни, а другого —

только руки... Но Лариска, не желая разбираться в подробностях, присобачила на его спрятанную в пустом рукаве культу отвратный ярлык, прижившийся с той легкостью, с какой всегда приживается лишь отборная мерзопакость. И ярлык этот (одно-единственное словечко) обозначал, что редактор будто бы родился на свет безруким, что он из чрева матери своей вышел неполноценным калеккой, и гнусное это словечко вскоре превратилось в кличку, которой *все!* стали звать редактора за глаза — *Не д о д е л а н н ы й...*

Вот до чего докатилась эта непостижимая женщина!

И, хлебая горячий борщ, — после водки аж дух захватывало — говорил редактор своему новому ответственному секретарю:

— Коллектив у нас, Коля, небольшой, но хороший, дружный. Только есть, к сожалению, у нас в редакции одна особа... Ты ее остерегайся и не жди от нее ничего хорошего, кроме плохого...

И тут уж он сам оказался по пьяному делу пророком.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Обжаренные в сухариках с яичком свиные отбивные были, конечно, поменьше поданной председателю райисполкома, но достаточно большими и сочными; денег про себя редактор уже не считал, так как в ответ на зов души, в которой только проснулось желание по-настоящему выпить, в его хмельную голову пробралась надежда, что заплатит за всё Коля.

«Во-первых, — взвешивал аргументы редактор, — он младший и по возрасту, и по должности. Во-вторых, прибыл по назначению он, и весь сыр-бор затеяли из-за него. А в-третьих, хлопец

явно деньги имеет, если на вещи в сельмаге кидается! А раз имеет деньги, так пусть не говорит, что не имеет, и не будет жмотом!» — решил редактор и сказал:

— Давай еще по сто грамм, а, Коля?

— А разве в редакцию мы не пойдем? — спросил Коля.

— А что сегодня делать? Тираж отпечатан, разослан. А следующий номер — когда еще будет. Выходим-то мы раз в неделю...

— В таком случае, — сказал Коля (его уже крепко прихватывал хмель), — я предлагаю выпить за следующий номер...

Но редактор его оборвал:

— Погоди...

Была у Буцала маленькая и простая, но недосягаемая до сегодняшнего дня, до появления в редакционном аппарате свежего человека, мечта. Он хотел, чтобы его, бессменного уже десятый год на своем посту редактора «Зари коммунизма», как-нибудь приятно и по-особому называли хотя бы его сотрудники. Называют же, например, Алексея Прокофьевича — «хозяин», а Андрея Ивановича — «первый» или просто Андрей. Но если вы скажете: «Андрей сегодня не в духе», или «Андрей сегодня рвёт и мечет», или «Андрей мне сегодня два раза звонил», то никто не спутает и не подумает, что вы рассказываете о настроении Андрея-шофера, который возит начальника промкооперации, или о телефонном разговоре с Андреем Петровичем, агрономом со станции защиты растений... Кличка же «прэса» редактору не нравилась: был в ней какой-то пренебрежительный оттенок. А вообще, если быть до конца откровенным, то редактору хотелось, чтобы его называли «шеф». Так называл своего главного редактора приезжавший в командировку друг из республиканской газеты:

«Шеф мне за очерк в прошлом месяце кинул такой гонорар!», «Знаешь, как шеф меня уважает!?!», «Шеф у нас — душа-человек!»

«'Шеф' — это звучит!» — частенько думал редактор. Но кто же мог его так называть? Лариса? Полуслепая, с зобом, корректорша? Уборщица? Или машинистка, пожилая и влюбленная в него женщина — бабушка! — его тайный, опять-таки по пьянке случившийся позор!? И редактор, подняв свой до половины наполненный стакан, закинул, между прочим, Николаю:

— Шеф тебе предлагает выпить не за это. Шеф тебе предлагает выпить за то, чтобы ты хорошо вошел в коллектив. Чтоб ты знал, это очень важно...

Коля сразу всё понял; ему даже понравилось, что теперь у него будет «шеф», и он сказал:

— Шеф, давайте закажем кофе.

— Ты, Нина, вот что, — очень строго сказал редактор, — ты принеси нам кохве!

— Нету кохве, — сказала Нинка. — И сроду его в нас не было. И будто бы вы самые не знаете.

— Рысторан еще называется, — сказал редактор; он умел и съязвить.

— А конечно же *рысторан*! — гордо сказала Нинка. — Не столова... С вас девятнадцать шестьдесят.

Господи! Почти половина зарплаты...

— А что это ты, интересно знать, нас торопишь? — прищурился, стараясь скрыть волнение, редактор. И добавил в шутку: — Или ты боишься, что мы сбежим и не заплотим?

Но Коля, тактичный хлопец, уже достал из кармана две десятки и протянул их официантке:

— Спасибо, сдачи не надо...

Он хотел показать редактору, как подобает себя вести в ресторане людям их круга и уровня. И показал... Но теперь ему было жалко денег...

Два пропитых червонца, казалось, превратились в два тяжелых булыжника, которые сунула каждому из них в желудок малопривлекательная коротышка Нинка, и, когда она, довольная не сорока копейками чаевых, а своей, смело присчитанной трёшницей, ушла, Коля сказал, будто бы между прочим, а на самом деле — с нехорошим, нечестным умыслом:

— Научили меня, шеф, когда-то играть в одну игру, называется «чмен»...

— А как это? — зевнул редактор.

— Очень просто, — оживился Коля и достал из кармана деньги. — Видите, — показал на номер ассигнации, — здесь имеются разные цифры. Я закладываю монету (скомкал в кулаке десятку), а вы заказываете — себе, допустим, первую, а мне — третью цифру. Теперь смотрим. — Коля развернул бумажку и посмотрел на номер. — У меня ноль, а у вас — два. Вы выиграли, понятно?

«— Он вытягивает тебя на игру», — шепнул редактору внутренний голос.

«— А чего ж тут не понять», — сказал редактор. Но, чтоб подразнить, «завести» внутренний голос, добавил: — Интересная игра.

«— Ты просто ненормальный! — вскипел внутренний голос. — Этот хлопец тебя в два счета обчихает!!»

«— А это еще неизвестно, кто кого обчихает», — отвечал редактор.

— Игра очень увлекательная, — соблазнял редактора Коля; он хотел вернуть половину заплаченных за обед денег. — Можно играть, как я сей-

час показывал — на одну руку, а можно закладывать на две руки две разные монеты...

— А по сколько же это играют? — без всякого конкретного интереса, лишь назло своему чересчур благоразумному другу, спросил редактор.

— По сколько захотят, по столько и играют, — с притворным безразличием сказал Коля.

Внутренний голос задыхался от переполнявшего его возмущения, но не произнес ни звука, ибо знал, что все доводы разума в подобных случаях бесполезны: Коля обращался непосредственно к самым темным, самым низменным инстинктам редактора. Он достал из кармана еще десятку, с хрустом скомкал ее, перемешал эти две, как он выражался, «монеты» и протянул два кулака прямо к лицу Григория Васильевича:

— Давайте еще раз, условно. По первой цифре. Ваша — в правой, моя — в левой руке.

Развернув бумажки, Николай объявил результат:

— У вас пять, а у меня три.

— Выходит, я опять выиграл? — обрадовался редактор. — Ты видал? Уже второй раз подряд!

Но внутренний голос молчал.

— Конечно, если вам так везет, — хитрил будто бы расстроенный Коля. — Но это я только показывал, — сказал он, забирая у редактора деньги. — А теперь, если хотите, можем сыграть по настоящему. По десять — пойдет?

— Рублей? — с сомнением спросил редактор.

— Ну а что же — копеек?

«— А жена? а дети? — напомнил внутренний голос. — А ваша только-только завязавшаяся бескорыстная мужская дружба?!»

И тут они оба: и редактор, и ответственный секретарь почувствовали сквозь бравший всё силь-

нее хмель, что начинают они что-то такое, чего им и вовсе не следовало бы начинать, но остановиться они уже не могли.

— Я закладываю на одну руку, — сказал Коля.

— Моя цифра первая, а твоя — последняя, — сказал редактор.

— У меня шесть, а у вас два.

— Покажи! — сказал редактор.

Еще минуту назад они были друзьями, но теперь их разделила стена взаимного недоверия игроков.

— Да, ты выиграл... — сказал редактор.

— Шеф, попрошу прислать десяточку, — сказал Коля.

— Ты мне эти шутки брось, — сказал редактор. — Ты закладывай еще раз!

— Во-первых, сейчас ваша очередь закладывать, а во-вторых, в чмене есть такое правило: расчёт производится сразу.

— Хорошо, — злобно сказал редактор, — хорошо...

Он долго шелестел в кармане бумажками, вытащил, наконец, четвертную и положил ее на стол.

— Я могу дать сдачу, — сказал Коля.

— Не надо, — сказал редактор. — Не делай мне таких одолжений. В этой бумаге ты имеешь десять рублей. Пусть пока полежит.

— Пусть лежит, — согласился Коля.

У редактора опять вышло два, а у Коли четыре. Он забрал со стола двадцатипятирублевку и выложил пятерку сдачи. Редактор полез в карман за вторым, еще остававшимся у него четвертаким, а Коля совсем позабыл о приличиях, разошелся:

— Закладывайте на две руки, шеф!

— Я, конечно, извиняюсь, но у меня только одна, — с горькой иронией отвечал редактор.

В комнату для комсостава ввалилась компания.

— Спрячь деньги, — торопливо шепнул редактор. — Неудобно...

Последний червонец он проиграл на улице, под фонарем.

— У вас семь, а у меня восемь, — пряча деньги, сказал Коля. И даже не показал проигравшему цифры, чего уж бесспорно требовала этика игры.

Редактор шел по лужам в темноте быстро стужившейся осенней ночи и чувствовал, как в сапоги его затекает и уже хлюпает там холодная вода, а душа заполняется ледяной тоской человека, который просадил всё, что у него было, и которому еще предстоит держать ответ перед супругой за неизвестно куда сгинувшую зарплату...

«— Подлец! Ты последний подлец!» — казнил редактора внутренний голос. Но он никогда не бросал своего друга в беде и потому тут же, по дороге, пытался вместе с редактором составить план дальнейших действий.

«— Я могу сказать, что сегодня вообще не выдавали зарплату», — предложил редактор.

«— А как ты в таком случае собираешься объяснить, почему ты пришел домой так поздно и пьяный? Где ты шатался и кто тебя поил?»

«— Да, это не выход из положения, — согласился редактор. — Но придумай же что-нибудь!»

«— Ладно, я придумаю, — сказал внутренний голос. — Но ты мне обещаешь?»

«— Клянусь!»

«— Тогда слушай: надо отвести гада на квартиру к Тамаре Михайловне. Она для тебя всё сделает. Получит с него за комнату двадцать рублей

за месяц вперед, а ты одолжишь у нее и эти двадцать рублей и еще десять, а дома скажешь, что сегодня выдали только аванс и обещали завтра же выдать всё остальное. А там будет видно...»

«— А ты не глуп!» — обрадовался редактор и, хотя ему претило разговаривать с Николаем, так бессовестно его обмужлевавшим, внутренний голос заставил его сказать:

— На квартиру определим тебя к нашей машинистке.

План нужно было осуществлять, и потому редактор безропотно тащил на спине нетяжелый, но громоздкий и неподручный узел с Колиной постелью.

Николай же, сопя, волочил бившие его по ногам чемоданы и еще прижимал к боку связку книг. Он тоже мучился из-за этих проклятых рублей, но ему было легче: он мучался выигрышем, и пьяная хитрость подсказывала ему, что сейчас лучше всего сделать вид, будто он забыл об этих шальных деньгах.

Пришли, постучали. Тамара Михайловна так и вспыхнула от удовольствия. Словно целый вечер этих гостей ждала. Впрочем, она всегда, что бы ни делала, ждала его. Ждала, что вот просто так, как сейчас, он придет и постучится в ее дверь...

— Ох, заходите! Ох, извините!..

И не знает, куда посадить. И не знает, чем угостить...

— Прощу, Тамара Михайловна, любить и жаловать, — сказал редактор, — наш новый ответственный секретарь. Николай Демченко — собственной, так сказать, персоной...

— Очень, очень приятно познакомиться! — сказала Тамара Михайловна.

— Возьмете, Тамара Михайловна, на квартиру своего непосредственного начальника? — спросил редактор.

— Ну какой же может быть разговор, если *вы!* — Григорий Васильевич, рекомендуете? И как вам не стыдно даже спрашивать... — пристыдила редактора Тамара Михайловна. — Вы, кажется, знаете, как я до вас отношусь?.. — И поспешила прибавить для свежего человека: — Григория Васильевича у нас в редакции все *очень!* уважают... Да что же вы стоите? Да присядьте хоть на минуточку...

И Тамара Михайловна тут же загремела сковородкой; и зашипело, заскворчало на огне молодое розовое сало, в десять солнц расцвела глазунья, грекнула крышка погребя — запыхали в миске на столе огненно-красные, один в один соленые помидоры, дохнули укропом аккуратные «нежинские» огурчики, в глечике, отдельно, огуречный рассол, в другой миске — белая квашеная (небось, с хрустом!) капуста искрится стружкой моркови и мерцает рубинами клюквы... Хлопнула калитка, и вот уже стол украсился последним, недостававшим штрихом — темной бутылкой из-под пива, заткнутой огрызком кукурузного початка — самогон!

— Своего у меня нету, — как бы извиняясь, сказала Тамара Михайловна, сжимая накинутую впопыхах телогрейку. — У соседки позычила...

— Что же вы с нами делаете, Тамара Михайловна! — возмутился редактор. — Мы же с Николаем только что из ресторана...

— Ой, да неужели ж вы меня так обидите! — всплеснула руками Тамара Михайловна и заторопилась разлить по граненым стаканам зелье, и себе тоже немножко плеснула; но суетилась онаazole гостей и радовалась им от души, не надеясь

(хоть желанный гость и был пьян), что ей перепадет сегодня хоть что-нибудь от его грубой ласки...

«Пусть видит хлюст, как его шефа уважают сотрудники!» — думал редактор, высасывая из тонкой оболочки целебное (после самогонки) содержимое соленого помидора.

— Хорошо закусывайте, Григорий Васильевич, и вы, Николай... как вас по батюшке? — говорила Тамара Михайловна.

— Миронович...

— Закусывайте, Николай Миронович. Берите вот сало... Еще огурчиков...

Коля обмакивал куски свежего пахучего ржаного хлеба в растопленный на сковородке жир, стараясь захватить тающие во рту шкварки, и рубал всё подряд: и яичницу, и огурцы, и сало...

Редактор решил, что благоприятный момент настал:

— Вам Николай за комнату, — приступил он к осуществлению своего плана, — уплотит двадцать рублей за месяц вперед. Это будет нормальная, справедливая цена. Ни ему, я считаю, ни вам не обидно...

Но тут эта квочка Тамара (не расскажешь же ей обо всем, что случилось!) как раскудаhtалась, как замахала руками: «Да какие могут быть деньги!.. Да еще за месяц вперед! Да что это вы такое говорите! Да ни за что на свете! А вдруг Николаю Мироновичу у меня не понравится — пусть они сначала хоть комнату посмотрят...»

После таких слов редактору тоже было неудобно настаивать насчет денег, и все поднялись из-за стола и пошли смотреть комнату.

Была она небольшая, самая обыкновенная, как все пустующие комнаты в селе: выцветшие

обои, стол, стул и старый, довоенных еще времен диван.

— А чего, нормальная комната, — пошатываясь, сказал Николай. — Жить можно...

— А вещи свои вы можете в мой шифоньер положить или вешать, — сказала Тамара Михайловна. И ей, одинокой женщине, стало тепло при мысли о том, что в ее шкафу появятся мужские рубашки, пиджак, брюки...

Втроем перенесли они из сеней Колины пожитки.

— Располагайтесь, — сказала Тамара Михайловна и вышла из комнаты, и редактор тоже вышел и прикрыл за собою дверь.

Потный, с прилипшей ко лбу прядью бесцветных волос, он глядел на нее, не скрывавшую своего обожания, и не то чтобы покраснел, но как-то засовестился того, что должен был сейчас сказать. Ведь у кого! — у самого бедного, наверное, на свете человека, у машинистки, выколачивавшей шестьдесят рублей в месяц своим горбом, собирался просить он деньги! Но кто еще, кроме нее, мог его пожалеть?..

— Тамара, — сказал редактор, опуская глаза, — можешь выручить?

— А сколько вам, Григорий Васильевич, нужно?

Она не прощупывала почву, не собиралась хитрить или торговаться, чтобы одолжить поменьше и на более короткий срок. Она была счастлива тем, что ему опять понадобилась ее помощь, что в трудную минуту он снова обратился к ней, и хотела лишь знать, сможет ли оказаться полезной?

— Сколько, скажите, Григорий Васильевич?

— Да хоть что-нибудь дать жене...

— Так сегодня ж была зарплата...

Вдруг она всё поняла и прижала к стареющим щекам свои совсем уже старые от работы по дому руки:

— Неужели ж вы всё пропили?!

По-бабьи у нее это вышло: обидные слова вырвались, и уж после она поспешила прикрыть ладонью угасший рот. А он только рукой махнул: дескать, что говорить...

— Бедный, бедный вы мой!..

И заплакала.

— Я отдам, я обязательно отдам, Тамара...

— Да разве ж я сомневаюсь? Только я всего тридцать рублей получила, — извинялась она за свою нищету. — И не знала же, что вам понадобится, побежала заплатить за дом налог... А могла бы и подождать. Но пятнадцать рублей у меня есть! — и достала деньги...

— А как же сама?

— А что мне нужно? Картошка есть, сало еще есть... Я ведь только хлеб покупаю. А три рубля на хлеб остались еще с той полочки...

Он принял ее пятнадцать рублей и, решив уходить, заглянул в комнату Николая — попрощаться. Он ненавидел Колю за пережитый стыд, за проигрыш, за предстоящий дома скандал, но стыдился эту ненависть обнаружить и потому сказал:

— Ну как ты тут, на новом месте?

— Порядок! — неуверенно сказал Коля. Он сидел посреди комнаты на стуле, низко опустив голову над бессмысленно перерытым чемоданом: видно, что-то искал, но что именно — позабыл, и думал только о том, что нельзя ему сейчас ни в коем случае ложиться, ибо как только он ляжет, поплывет перед глазами эта чужая комната и будет крутить его, мучить, раскачивать на высоких,

проваливающихся в какую-то пустоту качелях, пока совсем не замучит...

«Не пошла ему впрок гульня на чужие деньги!» — хихикнул внутренний голос, моментально оценив состояние Коли, а опытный, намётанный глаз редактора углядел еще кое-что: высокую и дорогую бутылку! — стоявшую на полу возле чемодана, и рядом с нею какой-то металлический, мерцающий желтизной — уж не золотом ли?! — предмет...

«Голая, кажись, баба... Или мерещится мне?» — подумал редактор и подошел поближе.

— Бренди! — прочел он вслух написанное на иностранном языке слово. И сделал он это неспроста: «Раз он так с тобой поступил, — подговаривал редактора внутренний голос, — нечего с ним тоже особенно церемониться! Нечего оставлять ему эту бутылку. Надо ее распить и хоть таким способом компенсировать еще часть проигранных денег...» И редактор сказал для затравы, для начала нового разговора:

— Чтоб ты знал, «Бренди» — это есть тот же самый ром...

— Ага... — сказал Коля, потому что сейчас ничего другого не мог выговорить его непослушный язык.

— Так что ж ты сел и сидишь? Нечего тут сидеть, понимаешь! Иди бери стаканы, выпьем...

— А?... — сказал, качнувшись на стуле, Коля. Ему страшно было даже подумать о спиртном, не то что пить.

— Так мы можем или мы не можем? — с наигранным весельем шумел редактор.

— Не надо бы сегодня, Григорий Васильевич... — заикнулась было Тамара Михайловна, но поспе-

шила принести и стаканы, и то, что оставалось на столе из закуски.

Прихватив зубами завинчивающуюся пробку и проворачивая рукой бутылку, открыл ее редактор в три движения (был помоложе, и пиво так открывал — зубами!) и до краев наполнил два граненых стакана.

— Ну, чтоб не в последний раз...

Страдая без меры, глотали казавшийся соленым, как морская вода, бренди. Коля так и не одолел свой стакан, поставил его на стол и еле-еле сдержал подступивший к горлу бурлящий ком.

— А это что такое? — редактор поднял с полу желтый блестящий предмет. Нет, не показалось ему с пьяных глаз: отлитая из металла, увесистая, хоть и небольшая, возлежала на его ладони голая и прекрасная, как Лариска, дама...

— Статуя Венеры, — определил редактор; он всегда любил называть каждый предмет его настоящим именем. — Хорошая статуя.

— Не-ет! — пьяно хохотнул Коля. Он неожиданно оживился, забрал у редактора цацку, положил ее на стол и резким движением надавил на голову даме. Клац!

И тут произошло нечто неопишное. Тут произошло такое, чего в своей жизни не видел не только редактор, но и Андрей Иванович, и сам хозяин, и вся его обкомовская братия, и даже друг редактора из большой республиканской газеты, который уже хорошо поездил по заграницам, так и он, наверное, ничего подобного тоже не видел. Желтая дама внезапно раскинула ноги, и при этом непристойном движении из ее лона со змеиным шипением ударила струя голубовато-стального пламени.

Остолбеневший, зачарованный, забыв в тот миг даже об ужасных последствиях игры в «чмен», глядел редактор на это диво и не мог оторвать от невиданного зрелища глаз. Григорию Васильевичу очень хотелось что-то сказать, например: «Вот это — да!», или каким-нибудь иным восклицанием выразить переполнявшие его чувства, но он не мог произнести ни единого слова и не мог даже мельком взглянуть на Тамару Михайловну. А Тамара Михайловна, хоть и покосилась на редактора, хоть и открыла от удивления рот, но тоже — не издала ни звука.

Насладившись эффектом, Коля отпустил дамину голову, ноги дамы тотчас же сомкнулись, огонь исчез, и, беспутная, она снова, как ни в чем не бывало, лежала на столе, холодная и мерцающая обнаженным телом!

— Да, — заговорил наконец редактор, — это вещь!

А Коля, на которого восторги редактора подействовали настолько благотворно, что даже вернули ему способность ворочать заплетающимся языком, стал подробно рассказывать историю своего сокровища.

Подарил ему эту уникальную настольную зажигалку ближайший по университету друг, Толик Семенюта, который получил диплом на два года раньше Коли и теперь работал в областном Одесском КГБ.

В Одессу-маму зажигалка была привезена моряками из загранки. У моряков ее отняли таможенники, а у таможенников оригинальную вещь отобрал гебист.

— Она у Толяна всегда на серванте стояла, — повествовал Коля. — А в этом году я приехал, смотрю: мой Толик уже женатый, и сам сует мне

эту штучку в чемодан: лучше, мол, ты ее забери, а то жена обижается. «Выкину, говорит, гадость такую...» — И Коля снова нажал на голову даме...

— Дай я попробую, — попросил редактор.

— Пожалуйста, — великодушно разрешил Коля.

Поглядывая на золотистую красотку, редактор достал из кармана папиросу «Беломорканал»; оттягивая самый интересный, самый пикантный момент, долго и тщательно ее разминал, потом постучал сапожком папиросы об стол, продул ее, сунул в рот и, наконец, потянулся к дамочке — прикурить!

— Мне за нее грузины сто рублей давали, — сказал Коля, и ни редактор, ни Тамара Михайловна не позволили себе усомниться в правдивости Колиных слов.

— Шикарная вещь! — выдохнул с дымом редактор. — Стоящая... Ну, и вы тоже зажгите, — угостил он Тамару Михайловну.

Тамара Михайловна очень стеснялась непристойной дамы, но, чтобы не обидеть редактора, нажала одним пальцем ей на голову.

Клац! Зажигалка работала безотказно.

— Ладно, я пошел, — сказал редактор и сунул зажигалку в карман.

Коля аж вскинулся.

— Я пошутил, — сказал редактор и положил даму на стол. — А ты даже шуток не понимаешь...

Он еще раз, на прощанье, клацнул и, злобно уставившись на Колю, долго держал даму исходившей огнем. Коле было жалко, что расходуется столько газа, но сделать замечание шефу он не решался.

— Не хватает тебе чувства юмора, — покачал головой редактор. — И пить ты не можешь. Не можешь, а берешься... Ну, бувайте...

— Я провожу вас, — заскулил Коля, его опять затошнило.

— А чего меня провожать? Что я — девушка?

Но Коля все-таки увязался за редактором: ему хотелось на воздух.

Вышли, остановились у калитки.

«Изобью я его сейчас, — остервенело подумал редактор. — Изобью как собаку!..»

Но в этот момент Коля грудью упал на часток кол палисадника, и фонтан рвоты ударил у него изо рта. Это было жалкое зрелище.

— Что, полегчало? — злорадно спросил редактор.

— Полегчало, — отплевываясь, улыбнулся сквозь слезы Коля.

— А совесть у тебя есть? — вдруг взорвался редактор. — Я не хотел говорить, но ты же всю до копейки получку забрал у меня! Да если бы ты хоть каплю совести имел, то сказал бы ж, наверное: «Григорий Васильевич, возьмите свои деньги — хоть жене покажите...» Что я потом их тебе не отдал бы?

— Ой, да я ж совсем забыл! — бросился к редактору Коля. — Григорий Васильевич, заберите у меня эти деньги! И не надо мне ничего отдавать. Я просто забыл... Я же пьяный...

Разумеется, это была неправда, и Коля не только не забыл о своем лихом выигрыше, но даже подумывал, как он завтра, потихоньку, чтоб не дразнить редактора, купит себе на его деньги в сельмаге элегантный английский джемпер. Теперь же, испугавшись прорвавшейся наружу ненависти,

Коля понял, куда затянула его пьяная хитрость, и дошло до него, наконец, почему с половины вечера так переменялся к нему его новый друг и начальник. И он поспешил запихнуть в карман редактору скомканные купюры:

— Я бы всё равно эти деньги вернул бы вам завтра утром!

— Вот теперь я вижу, что ты человек, — сказал редактор.

Они обнялись и на радостях громко расцеловались. Снова ничто не стояло между ними.

— Ты хорош хлопец!.. — говорил редактор, утирая нечистую после Колиных поцелуев щеку.

— И как я мог забыть!? — радовался Коля; у него словно гора с плеч свалилась.

— Мы крепко врезали, — сказал редактор, а Коля стал считать:

— Двести, потом еще двести, потом по сто... Это в ресторане! А самогонка! а бренди!

Простейшее арифметическое действие — сложение выпитых граммов — наглядно показывало, что редактор и ответственный секретарь гульнули на славу! Счастливые, они закурили.

— Надо уметь пить, — наставительно сказал редактор.

— А вы, Григорий Васильевич, — ласкался Коля, — пьете — и ни в одном глазу!

— О чем ты говоришь? Ты знаешь, сколько я мог выпить в твои годы?

В темноте отрадно вспыхивали два розовых огонька, и ни один из друзей не решался теперь попрощаться. И тут они заговорили о том, о чем им обоим хотелось завести речь сразу, после первого же стакана «Кровавой Мэри», но тогда было как-то неловко, стеснялись, а потом — эта игра

на деньги... И только сейчас они, наконец, заговорили о самом интересном в жизни — о женщинах!

— Осталась у меня в Киеве невеста, — с чувством сказал Коля, — дочь замминистра...

— На село ехать не захотела, — угадал редактор.

— Не захотела, — кручинился Коля, а шеф преотлично развивал предложенный им для мужского трёпа сюжет.

— Белоручка — это не спутник жизни, — учил редактор. — Ты правильно сделал, что на ней не женился...

— Да что я — с ума сошел? Она мне сильно нужна!..

— Ты поступил как мужчина, — одобрил Колю редактор. — С ними всегда легко начинать, с ними трудно потом разделяться...

— Лучше всего — вообще не иметь с ними дела, — сказал простодушный Коля.

— Конечно, лучше! Но ведь мы же мужчины, — пыжился редактор. — Мы ж не можем без этого!..

— А у нас в Киеве, — врал Коля, — возле главного почтамта — биржа. Подходи и бери какую хочешь. У каждой на подмётке мелом написана цена.

— Думаешь, у нас такого нет? — сказал редактор.

— Думаю, что нет, — с молодым задором отвечал Коля, хотя ему очень хотелось, чтобы здесь, в Пивнях, сию же минуту что-нибудь такое было.

— Не веришь? — загорелся редактор. — А вот если я сейчас, чтоб ты так не говорил, поведу тебя в одно место? Хочешь?

Было стыдно и страшно, но Коля всё же сказал:

— Вообще, сходить можно...

— Так ты хочешь или не хочешь?

В этом весьма щепетильном деле мужчины старались не выглядеть инициаторами друг перед другом. Но более твердым снова оказался редактор. Всё-таки он был человеком женатым, а Колю уж очень тянуло к женщине, ибо даже самая заваливающая ему, студенту из провинции, без денег, без своего угла, доставалась крайне редко. И потому, когда редактор поставил вопрос ребром: «Хочешь — пойдем, не хочешь — не пойдем», Коля просительно пробормотал:

— Давайте, Григорий Васильевич, сходим...

— Приспичило! — засмеялся редактор. — Ладно, пошли...

И они бодро зашагали в темноте, оставляя в стороне огни площади Космонавтов. А внутренний голос рассудил, что, в конце концов, и семейным людям тоже иногда нужна и даже полезна разрядка.

А поскольку он — голос — сам был не бабник и ни с какой точки зрения не мог оказаться полезным в том азартном предприятии, на которое редактор отправлялся с Колей, то решил и вовсе не ходить с ними, чтобы не мешать, и, пожелав искателям приключений удачи, вернулся домой. И хорошо сделал, так как жена редактора, женщина нервная и ревнивая, насилу упоравшись после работы и с детьми, и с хозяйством, хоть уже и добралась до постели, всё никак не могла уснуть. Беспокойство ее усиливалось тем, что сегодня был как раз день полочки, и денег в доме никаких не осталось, и потому она проклинала редактора, желая ему, пьянчуге и кобелю, всевозможных бед и даже смерти.

— Чтоб он до утра не дожил! — в сердцах заключила жена. Но тут она услышала чей-то, очень похожий на мужнин, голос, который ее пристыдил и указал ей, что желает она, таким образом, своим детям сиротства, что какой ее муж ни есть, — всё же есть, а у многих женщин помоложе ее — и такого нет, и что будет гораздо лучше, если муж не сдохнет и вообще никуда не денется, а наоборот — вернется домой и станет врать, что его срочно послали в командировку в какое-то село, и, если она не верит, то пусть сама пойдет и спросит. А то, что от него несет водкой, так это действительно, но в селе его угостили и отказаться было невозможно; он и так изо всех сил отказывался... А получку он просто не успел получить, так как уехать пришлось до того, как принесли из банка деньги, но завтра он их непременно получит и всё до копейки принесет домой — пусть она не волнуется, не скандалит, не будит детей и не оскорбляет его понапрасну... С тем жена и уснула.

Убедившись, что спит она крепко и больше не клянет мужа, и чуть улыбается во сне, и вспоминает, как однажды из Киева прислал он по почте для их первенца такие голубенькие баевые распашоночки, — внутренний голос потихоньку отошел от спящей...

Редактор же, в отличие от Коли, нисколько не врал и даже не преувеличивал насчет того, что здесь, в Пивнях, имеются и известны ему определенного сорта женщины. И когда он говорил, что сейчас поведет Колю в одно место, то имел в виду конкретный адрес — кривобокую хату под прогнившей соломенной крышей, с двумя окнами, одно из которых было разбито и не по-хозяйски заделано куском картонного ящика. Помещались в этой развалюхе две девчонки-малолетки, прижи-

тые от разных и неизвестных отцов и брошенные своей непутевой матерью-одиночкой. Звали их Надеждой и Любовью, и была младшей четырнадцать, а старшей — пятнадцать лет, когда упорно не желавшая выйти в тираж их мамаша умчалась вслед за приезжавшим на побывку в Пивни и спутавшимся с нею солдатиком.

Где-то на Севере, под Архангельском, добивал сейчас солдатик третий год осточертевшей службы, а она вроде бы караулила его, мыкалась без прописки по чужим нечистым углам и в придачу к своей жадной до молодого хлопца, рыхлотелой, с синими прожилками, любви носила ему в рожицу у ворот воинской части то чекушку, то банку тушёнки, то бутылку крепленого вина. Всё это покупалось на Бог весть какие рубли, Бог весть чем она и сама кормилась, но стерегла свое неверное, последнее на веку бабье счастье и писем дочкам домой не писала...

А девчонки, хоть и бросили школу, не попали в детдом, потому что вышли уже из детского возраста. Но не погибли, с ранних лет насмотревшись, как всё это делала мамка. С младенчества был знаком им вкус самогонки; и жеванного мака: чтоб пораньше и побыстрее засыпали, не хныкали; некогда было с ними возиться, особенно вечером...

И в пять-шесть лет за столом, бывало, чокались Надька с Любкой стаканами, на дне которых плескалась сивуха, и приговаривали шепеляво:

— Дай, Бозе, завтла тозе!

— Пусть! — подмигивала мамка завернувшему с дальнего рейса шоферу. — Спать будут крепче...

А шоферу-то что? Пусть!.. Его, что ль, это дети? А комната у хозяйки одна, да и постель одна...

И чтобы не было всем вместе тесно в одной постели (да и что это, я вас спрашиваю, для гостя за удовольствие?), укладывала мать осоловевших девочек как цуценят на полу, подстелив им в углу мешковину, и укрывала их своим старым пальто. А шофер — не он первый, не он последний! — если добрый, накинёт утром рубль на детишек, а другой не то что не накинёт, но еще и прихватит с собой в дорогу недоеденную с вечера колбасу: тоже ведь денег стоила! И еще норовит руку запустить под рубашонку:

— Это что у тебя там такое?

— Крахмал, мамка сказала — нельзя там трогать...

— Ах, крахмал... Ах, какой крахмал!..

С месяц, не больше, как удрала мать, гнули девчонки спину на сахарном заводе, куда определил их опекунский совет, но безответные, истерзанные пьяным мужичьем, сбежали от голодной тридцатирублевой зарплаты и ежедневного, в обеденный перерыв, паскудства — у всех на виду, во дворе, на куче подсохшей гички или соломы...

С тех пор они жили так, как раньше жила их мамка. Один просто приглянется, другой даст трёшку, с третьим — за стакан самогонки и кусок колбасы...

Аkkордеонист из клуба, человек искусства, обучил сельских девочек секретам «французской любви»; его закадычный друг, фельдшер из райбольницы, безотказно закатывал сестрам при случае лошадиные дозы стрептомицина, а от сифилиса пока их миловал Бог... И еще случалось девчонкам, как раньше случалось мамке, ходить с «фонарем», с подбитым по пьянке глазом: один разбушуетя и не остановишь, другой пожелает отомстить — за трипака, то два шофера меж собою

сестер не поделят, а то пивеньские бабы побьют, чтоб мужей не приваживали — «У! отродье!..»

И хотя смертельно боялся редактор сплетен (а подцепить что-нибудь он еще больше боялся!), но знал в глубине души, что когда-нибудь не устоит он перед соблазном полакомиться, побаловать себя хоть разок этими, такими молодыми, в теле, девками, с приводящим в волнение, как встретишь на улице, откровенным разворотом в глазах. И увидев случайно возле чайной Надьку или Любку у ларька «Пиво-воды», он всегда вежливо и даже заискивающе здоровался с ними, если был, конечно, не с женой или с кем-нибудь из знакомых.

Сейчас, шагая рядом с Николаем, редактор слегка протрезвел на холодном осеннем ветру и испытывал приятный прилив сил от сознания того, что предстоит ему столь заманчивое удовольствие. Они уже переходили шоссе, и отсюда было рукой подать до хаты сестричек, как вдруг в темноте споткнулись обо что-то живое, мягкое.

Чиркнул Николай спичкой, и при вспыхнувшем на миг неверном свете увидели они лежавшего без движения человека, уткнувшегося лицом в грязь. Ахнул Николай:

— Убитый!

— Да какой там убитый — выпивший. А ну помоги...

Они оттащили мужика за канаву и, как сумели, посадили под чей-то плетень.

— Только спал бы он здесь до утра, — сказал редактор. — А то как выползет снова на шоссе — ночью запросто машина задавит.

И с чувством людей, сделавших доброе дело, не бросивших незнакомого, но такого родного человека в беде, они пересекли шоссе, и редактор сказал:

— Это здесь...

Он хорошо знал эту «одноглазую» хату, свет еще горел в ее окне, и осторожно, даже зачем-то сказав Николаю «тсс!», заглянул в него гуляка-редактор.

Надя и Люба сидели рядышком, прислонясь к печке, перед ними стоял сбитый из досок и застеленный газеткой стол, уставленный бутылками и снедью, а по краям стола, поближе к девчатам, пристроились двое совсем молодых, еще моложе Николая, лейтенанта, незнакомых редактору и тоже, видать, приезжих.

Редактор отступил от окна, зачем-то поправил на голове шапку и стукнул два раза в дверь. Стукнул твердо, по-мужски, но не нахально.

Он понимал, что не следовало бы ему стучаться, что не светит им ничего, если там уже пир горой и компания слажена, но отступать, тем более, что он сам потянул Николая, ему не хотелось. Он не видел, как при его стуке все четверо переглянулись за столом: гости — подозрительно, хозяйки — встревоженно.

Лейтенанты здесь были впервые и уж очень понравились они девчонкам, и девчонки тоже понравились им, и чем-то добрым для всех четверых был наполнен этот вечер, и, как смерти, не хотелось сестрам сегодня пьяной драки и сраму. А попали лейтенанты в эту хату, встретив старшую Надю, в четвертом, примерно, часу дня на железнодорожной станции. Надя ждала там отбившегося от артели шабашника, который пошел получать с бригадира какие-то восемь причитавшихся ему, по его подсчетам, рублей, но что-то не возвращался... Голодная и замерзшая, она терпеливо прождала бы его дотемна, но тут возле нее стали вертеться два молоденьких, как она сама, офице-

ра в новеньких шинелишках с новенькими чемоданчиками; всё улыбались ей, строили глазки, всё подталкивали друг друга — заговори, мол, ты первый, пока один из них не решился подойти к ней с заранее приготовленной скороговоркой:

— Разрешите вас, девушка, пригласить составить нам компанию пообедать, потому что мы с другом далеко уезжаем, а наш поезд уходит еще только через два часа...

Из всей этой сбивчивой и смущенно произнесенной скороговорки Надя только и поняла, что молодые культурные военные ее культурно приглашают покушать, и согласилась она с такой естественностью, что лейтенанты просияли от радости. И хотя денег у них было маловато, они тут же отправились с девушкой на второй этаж станционного здания в полутемное, обшарпанное помещение, которое тоже считалось рестораном. Веселые славные мальчишки, они заказали много всякой еды, каких-то месяцами лежавших на прилавке конфет, бутылку вина «Шато Икем», а потом еще, вежливо переспросив Надю, не согласится ли она выпить с ними «беленькой»? — триста граммов водки из расчета по сто на брата.

Как ни хотелось Наде есть, она сумела не обнаружить перед ребятами томивший ее голод; сама ничего, кроме хлеба, не брала с тарелок, чем проявила в поведении за столом высшую в ее понимании деликатность. Она скромно отводила глаза от заглядывавших в них любопытных ребячьих глаз и каждый раз, когда офицеры что-нибудь подкладывали ей, говорила: «Спасибо вам», и улыбалась, сначала даже слишком сдержанно, поджав губы, а потом, как обвыкла и выпила — во весь белозубый рот, и таяли мальчишки от этой улыбки...

Они оба тараторили безумолку, рассказывали, что вот только-только закончили училище, что, отдыхая здесь неподалеку, в селе, просрочили уже на двое суток свой отпуск и что едут теперь служить куда-то к чёрту на рога, на китайскую границу, что оба они — и Борис, и Костя (Косточка — ласково назвала про себя Надя того, что первый к ней подошел) ужасно рады, что познакомились с нею.

— А вы сами студентка?

— Студентка...

— На каникулах здесь?

— На каникулах...

Хорошо было с ними. Если что-нибудь и спросят, то сами себе и ответят. А вообще не любила Надя, когда ее спрашивали...

— А подруга у вас симпатичная есть?

— Есть... Сестра у меня симпатичная...

— Так познакомьте! — подскочили ребята. —

Мы переписываться с вами будем...

Конечно, мысли у них были не такие уж невинные, только о переписке, но ведь как это радостно, когда на тебя глазеет не мурло, не ханыга со смрадным, за километр слышно, дыханием, а вежливый, аккуратный лейтенантик в ладном мундире с погонами!

— А чего, — сказала Надя. — Я, пожалуйста, познакомлю...

Тревожно стало ребятам от этих слов. Уже час всего оставался до поезда. Но не стоит ли за этой Надиной простотой в разговоре та, другая простота, которая позволит им украсить свой последний день перед невеселой дорогой?

— А где ваша сестра?

— Дома...

— А где это??

— В Пивнях. Шесть километров отсюда...

Ребята насторожились: она приглашала их, звала. Для чего?

И Борис спросил напрямик:

— А с кем вы еще живете?

— А мы удвох с сестрой и живем...

— Ну как, Борис? — подмигнул Костя.

Борис встал и сказал:

— Поехали!

И тогда подумала Надя, что нехорошо будет, если Любка уже привела кого-нибудь на сегодня.

Но никого Любка не привела, потому что было еще рановато, и по дороге домой, оставив на станции, в камере хранения, чемоданы, перед тем как сесть в автобус, ребята закупили еще еды и выпивки. И не было во всем этом чего-то такого, будто заманили к себе их эти девчонки, и не собирались они тянуть у своих ровесников деньги. Маленький гадкий расчёт не замарал их мыслей...

За столом было тихо и грустно. Все-таки не были детьми лейтенанты и поняли, куда попали, и стало им, подвыпившим, тоскливо от того, что эти Надя и Люба были много лучше тех «порядочных» девушек, перед которыми они вечно выставлялись, хвастались, и которые тоже что-то строили из себя и, тискаясь до полуночи в парадном или на лавочке, в полубеспамятстве от зацелованных сосков, запрокидывали голову и судорожно сжимали колени: «Все равно ничего не будет!». Эти Люба и Надя были честней, правдивей, и думали ребята, и даже не думали, а скорей чувствовали, что надо бы им, — то есть, собственно, что значит «надо»? — просто лучше было бы, если бы они вот так же просто, как решились сюда приехать, забрали бы с собой двух оборванных, изголовавшихся девочек-проституток и увезли бы их

в тот проклятый Богом край, где пять месяцев жжёт мороз, а другие пять месяцев — солнце, где нет воды и ее привозят в цистернах, где нет ни города, ни села, ни огорода, ни яблони и вообще ничего нет, кроме военного подразделения и дремлющих до поры до времени чудовищ-ракет...

И всё это висело в спертom воздухе ни зимой, ни летом не проветренной хаты вперемешку с запахами печного угара, сырости, плесени и горечью невыплаканных слез, и все четверо понимали, что хоть всё равно это так просто, но не бывать тому — непонятно почему, но всё равно не бывать! — и что будет им так хорошо этой ночью, как никогда еще не было прежде и не будет потом. И знали ребята, что эта ночь останется для них тем теплым воспоминанием, которое согревает твою душу до тех пор, пока не расскажешь о нем за мужским пьяным столом под одобрительный гогот и вопросы «по существу»: «Ну и как, было дело?» — «А куда ж они денутся!» — «А потом поменялись?..» Но в тот вечер ребята не торопили событий, не лезли к девчонкам и терпеливо ждали, пока всё само собой образуется и одна из них сама то ли скажет, что пора, мол, спать, то ли просто погасит свет. И вот в эту наполненную то ли чувствами, то ли мыслями, то ли невысказанными словами тишину постучался кто-то с поздней, уснувшей улицы.

— Разрешите зайти до вас в гости! — залезил редактор перед выглянувшей из приоткрывшейся двери Надей.

— А чего вам? — Ей так не хотелось сейчас впускать кого бы там ни было в дом!

— Что же это за такое гостеприимство, — подмигивая Коле, выпендривался редактор, — когда людей уже и на порог не пускают...

— Заходите, — пожала плечами Надя, и они вошли.

— Приветствую представителей наших доблестных вооруженных сил и представителей прекрасного пола, — галдел редактор. — Разрешите познакомиться (пожимал офицерам руки). Вы, значит, Борис, а вы, значит, Константин. А это, Коля, наши пивеньские девчата — Надюша... Любуша... А меня зовут Григорий Васильевич... — И вышло, что он тут самый главный.

— Это мы, понимаете, гуляли... — распространялся редактор от неловкости, от незнания, как себя вести, но его нелепый, фальшивый стиль светской беседы только усугублял эту неловкость. — Гуляли мы с нашим новым ответственным секретарем, с Николаем... Он только сегодня прибыл, так сказать, на место назначения. Так вот мы проходили мимо, а я говорю: «Давай познакомим тебя, Коля, с хорошей девушкой...»

Он замолчал, потому что его слова падали в какую-то неприятную тишину, от которой становилось не по себе... Николай, редактор и открывшая им двери Надя всё еще стояли, а лейтенанты и Люба сидели за столом и, чтобы показать незваным гостям, что они здесь лишние, Люба положила свою руку поверх руки Бориса, и это означало, что она сегодня будет с ним и что не надо ей здесь никаких ответственных секретарей и вообще никаких посторонних. Но Борис, хотя и чувствовал, что это совсем не нужно, не мог не сказать:

— Садитесь...

Редактор сел и пригласил Николая:

— Садись, Коля... И вы, Надюша, садитесь, — он усаживал уже и хозяйку, и усаживал ее возле себя. — Или вы уже сесть с нами рядом брезгуете?

— При чем тут это? — сказала Надя и отошла к окну.

Снова стало тихо. И неловко, и неприятно. Нехорошие мысли зароились в папиросном дыму; и мужчины старались не смотреть друг на друга.

— Я опасаюсь, что у Николая, — сказал редактор, — может сложится неправильное мнение о нашем городе. Что живут у нас, понимаете, такие негостеприимные люди...

— А какого это вам особенного хочется гостеприимства? — буркнула Надя, исподлобья уставившись на редактора.

— Какого — хи-хи! гостеприимства? — захихикал редактор. — Щирого, украинского...

— И чего тут такого смешного? — сказала Люба, уже обнимая Бориса за плечи: дескать, по-вылазило, что ли, вам, непрошенным?

— А мне смешинка в рот попала, правда, Коля? — так это, по-простонародному, кокетничал редактор, пытаясь вовлечь в общий разговор и Николая. Однако общий разговор никак не клеился, потому что участвовать в нем хотел лишь один редактор.

Наблюдая со стороны страдания этого придурковатого инвалида, пожалел его Борис, потому что если эти девушки — Надя и Люба — так откровенно его презирали, то каково же ему вообще на свете жилось? И бросил лейтенант звонкую, подобранныю где-то фразу:

— А не выпить ли всем нам по водочке?

Но редактор именно на какой-то такой поворот и рассчитывал. Это он только прикидывался глуповатым, вводил противника в заблуждение, а на самом деле он был удивительно какой ловкий и хитрый человек! Он сразу, еще когда вошел, понял, что намертво присосались проститутки к офи-

церью, и решил ослепить дешевых баб непомерной для них суммой. Ему прямо-таки жгли карман четвертаки, которые вернул ему Николай. Но швырнуть девкам деньги в открытую редактор не решался. Он хорошо знал, что такое литые форменные пряжки на широких ремнях, которыми были подпоясаны молодые отчаюги-офицеры. И он выждал подходящего момента, чтобы — *тактично!* — всучить свои денежки, так, что ни с какой стороны не смогут придраться к нему лейтенанты. И когда Борис наливал, редактор выложил на стол фиолетовую двадцатипятирублевку.

И при этом каким тонким он выставил себя дипломатом! Он не платил — Боже сохрани! — за предстоящее удовольствие проституткам, но с бесшабашностью забулдыги-начальника щедро угощал всех присутствующих, предлагая офицерам погулять за его счет, напиток и уступить девок.

— Надюш, не в службу, а в дружбу: сбегай, принеси еще выпить...

Дескать, пару рублей на выпивку, а всё остальное — тебе!

— А с чего это я вам буду водку носить? — Надя с презрением глянула на редактора и на его четвертную, хотя отродясь не держала в руках таких денег.

— Тогда я не буду пить, — разобидившись, пригрозил редактор.

— И не пейте...

Оставив двадцать пять рублей на столе, он вскочил, заметушился, окончательно сбитый с толку:

— Люба, можно тебя на два слова? По секрету...

— А шо то за секреты?

Словно в кабинете Андрея Ивановича стоял редактор, нагнувшись над столом, прижимая к груди кулачок:

— Я прошу тебя, как человека!..

Так и быть, вышла в сени.

— Я хочу, чтобы всё было хорошо, ты меня понимаешь?

— То приходите завтра...

— Какие могут быть завтра?! Я оставляю вам двадцать пять рублей, я вас на хорошую работу устрою...

Редактор засопел, погладил ее по плечу и тронул колыхавшийся под платьем упругий шар:

— Скажи им, пусть они катятся отсюда...

— Катись ты сам, *недоделанный!*

Впервые вот так, прямо в лицо, бросили ему это слово. И еще больней становилось оттого, что ранила его подзаборная нищенка, за которой редактор в своем понимании жизни не оставлял даже права выбрать, с кем ей сегодня лечь.

Люба рывком отворила дверь и вернулась в хату.

Редактор поплелся за ней:

— Ну, ты еще попросисся... Ты попросисся...

— Забрать свои деньги! — *вызверилась*

Надя.

Лицо редактора искривила ироническая усмешка. Он взял со стола деньги и, пританцовывая, запел:

Как у тети Нади...

Все подруги бля...

А что? — ничего! —

Бляхами торгуют.

— Забирайтесь отсюда! — подступилась к нему Любка.

— Ах, ты меня еще гонишь!?

Борис поднялся из-за стола и подошел вплотную к редактору. Вкрадчиво, как обычно перед дракой, накаляя в себе злость, сказал:

— Слушай, ты себя как ведешь?

— А вы мне не «тыкайте»! — психанул редактор. — Я с вами свиней не пас!

— Ну-ка, хлопец, уводи отсюда поскорей своего калеку, — сказал Костя, обращаясь к бледному, перепуганному Николаю.

— Но-но-но! — сказал редактор.

— Мы вас знать не знаем, — сказала Надя. — И не знаем, чего вы пришли!..

— А по-моему, вы всех мужчин в Пивнях добре знаете, — сказал редактор.

— Да он просто, я вижу, нахал! — рванулся Костя. — А нахалов надо учить!..

Надя еле успела перехватить уже отведенную для удара наотмашь руку:

— Косточка, любенький, не надо! Прошу тебя, не надо! Пусть они себе уходят... Они сейчас уйдут...

— Мы уходим, — сказал редактор и шагнул к порогу. — Но все, кто тут был, об этом еще пожалеют. Горько пожалеют...

И не знал он, что больше всех о том, что случится, будет жалеть он сам.

Опозоренный, он шел в темноте рядом с перетрусившим Николаем и — чёрт! — споткнулся обо что-то живое, мягкое.

Снова чиркнула спичка. Пьяный, которого они усадили под плетень, выполз всё-таки на шоссе. Но, видать, хранила мужика судьба, если не задавила его машина...

Они снова оттащили с проезжей части тяжеленного, намокшего под дождем дядьку, но усаживать его не стали, а просто бросили на обочине,

за кюветом. Пьяный что-то пробормотал сквозь сон и утих. Они ушли.

— Этому молокососу крупно повезло! — бушевал редактор. — Это просто счастье его, что он побоялся меня вдарить. Он бы сгнил в тюрьме!

— Да что с ними связываться, — сказал Николай.

— Я им покажу! — хрипел редактор. — Ты слышал, как он сказал: «нахалов надо учить»? Я его научу!

Но как именно проучить своих новых врагов, редактор, честно говоря, не знал. Он хотел было сейчас же пойти в милицию к своему приятелю капитану Собакину, чтобы немедленно арестовать распоясавшихся щенков, а заодно и оскорбивших его проституток, но тут проснулся внутренний голос и напомнил редактору, что он пьян и ничего толком не сумеет ответить на такой простой вопрос: зачем он, уважаемый, семейный человек, редактор газеты, вместе с молодым, только что приехавшим в село парнем, ночью, в нетрезвом виде вломился к «сестричкам» в хату? И получалось, что ничего вразумительного на этот вопрос Буцал ответить не смог бы. Только сплетня и пошла бы по селу. А кому это нужно?

Но Коля, оказывается, тоже думал о мести:

— Есть у меня идея, шеф! И, между прочим, очень неплохая...

— Какая?

— На всю жизнь запомнят. Наплачутся!

— Ты можешь по-людски сказать?

Чтобы подчеркнуть особую значительность «идеи», Коля остановился и скрестил на груди руки:

— Это будет тихий ужас! Вы знаете, шеф, где мы сейчас с вами были? В притоне! Мы с вами столкнулись с фактом, позорящим весь район! Так

имеем ли право мы, газетчики, смотреть сквозь пальцы на подобные явления?

— А если они потом скажут, что мы, выпившие, ночью до них приходили? — усомнился редактор.

— Шеф, да вы что — смеетесь? Мы же с вами проводили рейд! Мы приходили готовить выступление газеты, — разъяснял Коля, подталкивая редактора локтем. — Побеседовать приходили, посмотреть... Да если хотите знать, мы их на горячем накрыли.

— Коля, я тебя понял! — многозначительно сказал редактор. — А то, что мы были под банкой, так это еще надо доказать!

— Пусть сначала докажут, — захлебывался от восторга Коля. — Пусть докажут!

— А ты прав: хорош фельетон можно выдать. Они, понимаешь, не работают нигде, не учатся... Про то, что они проститутки, писать, конечно, не надо, — развивал и уточнял Колину мысль редактор, — а вот за тунеядство, за пьянство их раздраконить следует. Получится злободневное, критическое выступление газеты. Будут знать, шваль такая, как оскорблять людей! Ты мне завтра напомни, Коля, об этом деле, — совсем уже приосанился редактор и спохватился: — Куда мы идем?

Огни на площади Космонавтов погасли, кругом стояла черная, хоть выколи глаз, тьма.

— Где это вы ходите, полуночники? — позвала Тамара Михайловна. Она вышла к калитке встретить своего квартиранта, да и за редактора была беспокойна: пьяный, шел бы домой...

— Прошлись, подышали свежим воздухом, — сказал редактор.

— Следующий номер газеты обсудили, — сказал Николай.

— Ну, ты иди спать, — сказал редактор.

— Я вам постелила, Николай Миронович, — сказала Тамара Михайловна.

Коля попрощался и ушел; для него было вполне достаточно на первый день приключений.

— Тамара! — шепнул редактор. — Знаешь, я деньги нашел... Я думал, что потерял их... И — нашел!..

Он сунул ей в руку одолженные пятирублевки.

— А может, они вам надо?

Погас свет в окне Николая. Тух! Тух! Тух! — стучало бабье сердце: редактор молчал и не отпускал ее руки...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Эх, молодость, молодость! Сколько стихов о тебе сочинили поэты! От Пушкина — до Золотушкина, от Блока — до Дрока! Сколько роскошных сторублевых передовиц посвятили тебе набившие руку публицисты «Комсомольской правды» и «Смены», «Блокнота агитатора» и теоретического журнала «Молодой коммунист» (пятьсот рублей за восемь страниц на машинке!). Но ни дошлый публицист, ни опытный поэт, ни издавший виды прозаик не сумеет передать то дивное пробуждение молодости, которое наступает наутро после двух с половиной стаканов водки с томатным соком, стаканяки самогона, почти полностью распитой на двоих бутылки коньяка под названием «Бренди» и пяти часов беспробудного сна! Не потянут эту тему даже самые матерые писатели, не хватит у них на то литературного дарования. Это я вам точно говорю!

Как отрезало, как топором отрубило всё, что было вчера; и только предстоящая жизнь упира-

ется в грудь радостным ощущением будущего, и, едва вскочив в такое утро с постели, ты ступаешь босой ногой на холодный пол и вздрагиваешь, словно от прикосновения к счастью.

Эх, молодость! Говорят, что ты уходишь безвозвратно. Но так говорят только те, кто не понял лучших лет своей собственной прожитой жизни, потому что к тем, у кого молодость была не задумана, она возвращается в такие вот, как сегодня, утра... Только ощущением прошлого, а не будущего... И то, что случилось вчера, не отрезано, не забыто: оно, вчерашнее, разглаживает на твоём лице морщины и вливает уже позабытую стареющим телом силу... И весело, словно сама собой, делается в такое утро постылая работа по хозяйству, и удаются особенно пышными оладьи, и теплая, как котенок, песня ласкает твои губы, и волосы ложатся под гребнем так, что почти не видно в них седины... И бойко стрекочет старая, допотопная машинка, и румянец горячо обволакивает щеки, когда на деревянной лестнице слышатся знакомые шаги — это он!..

Он входит хмурый, с растерзанной с перепоею душой, оскорбленный нелюбимой женой, он не смеет поднять глаз; это так обидно! Но зато лишний раз напоминает тебе о вчерашнем. А того, вчерашнего, даже он теперь не отнимет!

— Приветствую... А Ларысы Васильевны еще, разумеется, нет... Её величество, как всегда, задерживаются...

И совсем не нужна ему Лариса! Это он, не похмелившись, понапрасну мучает себя: нет, мол, жизни ни на работе, ни дома... Но тут из его кабинета, из крошечной каморки, где с трудом умещаются только старый письменный стол и выкрашенный коричневой краской несгораемый шкаф, выходит Коля:

— Доброе утро, шеф!

— Здоров! — уже веселее откликается редактор и, совсем как Андрей Иванович, говорит: — Ану, зайди ко мне...

Они втискиваются в кабинет-каморку, отделенную от общего помещения самодельной застекленной перегородкой, словно составленной из множества маленьких форточек, и Коля с трудом прикрывает дверь: двоим здесь негде повернуться.

— Во-первых, Коля, я тебе должен десять рублей.

— Ну что вы, шеф?

— Верну в следующую получку. А во-вторых...

Редактор умолкает и только ниже опускает тяжелую, раскальвающуюся от боли в затылке голову. Через застекленную перегородку Коле видно всё помещение редакции, склонившуюся над пошарпанным «Ундервудом» Тамару Михайловну в старом платье, которое она сегодня освежила белым отложным воротничком, старый линотип, вокруг которого доски пола, обитые жостью (тоже словно воротничком), и письменный стол ответственного секретаря, стоящий вплитык к столу той самой неприятной особы, которая еще не явилась на работу и по поводу которой его вчера предупредил шеф. Может, о ней пойдет речь?

— Мне надо попросить тебя, Коля, — с трудом произносит шеф, — об одном большом одолжении...

— Одолжении?

— Там со вчера еще немного осталось...

— Что осталось?

— Ну, этот, как его, ром...

— Бренди?

— Я не могу!.. Давай зайдем к тебе похмелиться... Я тебе заплачу, сколько это будет стоить...

— Шеф, о чем вы говорите?

Рука редактора судорожно комкает пустой рукав:

— Тогда пошли...

Они не шли, а летели! Еле успела Тамара Михайловна шепнуть Коле, когда они выходили:

— Там, в сенях, в кружке — капусточка... Так вы, Николай Миронович, возьмите...

Стучало горлышко дрожащей бутылки о край стакана. Ударил запах коричневой жидкости. Водка, конечно, была бы лучше, но не приходится, знаете, привередничать в нашей нелегкой жизни...

Никто не должен видеть лица мужчины, когда после пьянки он, с утра пораньше, вливает в свой отравленный организм новую дозу спиртного, чтобы прийти в себя. Клин вышибают клином! В тяжелых муках рождается заново на белый свет человек, и эти первые полстакана — похмелка — есть процесс глубоко интимный.

Отвернувшись от Николая, редактор выпил и, не вытирая с подбородка струйку, прикрыл ладонью глаза. Он запрокинул голову и ждал, когда из него — вот сейчас! — испарится, изыдет страдание. Охх! Кажется, чуть полегчало...

— Там, в сенях, — сказал редактор, не открывая глаз, — должна быть капусточка. В кружке...

Сунул в рот щепотку принесенной кислой капусты, высосал сок, пожевал и только теперь повернулся к Коле.

— А ты?

— А я никогда не похмеляюсь!

— Да? — и редактор вылил из бутылки остатки в свой стакан.

Вторую порцию он заправлял в себя спокойно, медленно, только чуть дрожала рука. Еще одна щедрая щепоть капусты исчезла во рту; он достал

папиросу и, подмигнув Коле, потянулся к той голенькой золотусечке — прикурить.

Клац! — и горько задымила папироса. И сквозь ее дымок открылся редактору окружающий мир одного из последних солнечных утр октября...

Ну что вам сказать? Полчаса назад вышел из редакции один человек, а вернулся другой. Знаете, кто вернулся? Вернулся энергичный, боевой идеолог района! Вернулся *та-лан-тли-вый!* (давайте не постесняемся употребить здесь из чувства ложной скромности это высокое слово!) журналист. И чтоб вы помнили — Ленин тоже был журналистом! Ленин своей собственной рукой писал в анкете: профессия — *журналист*. О!.. Так вот, вернулся в редакцию знающий в совершенстве свое тонкое газетное дело мастер, готовый передать весь богатейший багаж профессиональных навыков и знаний зеленому, начинающему ответственному секретарю, который еще не научился даже похмеляться наутро! Конечно, были в руководимом редактором коллективе отдельные недостатки, были, например, люди, которых надо было воспитывать... Что ж!..

— Кого я вижу? Ларысса Васильевна изволили явиться на работу? Изволили осчастливить своим присутствием! Приветствую и напоминаю в последний раз: трудовая дисциплина существует для всех.

Как бы ни хотел поверить своему редактору Коля, как ни старался он в это утро думать и чувствовать в унисон со своим начальником, он увидел сейчас не вражину, не злобную интриганку, а чудо природы — поэму, мечту, русалку!

Русалка подняла на редактора полный беззастенчивой скуки взгляд прекрасных зеленых глаз, плеснула хвостом и уплыла куда-то вдаль, за окно...

— Вы, конечно, вчера, Ларысса Васильевна, не подготовили те два письма, что я вам поручил, — про строительство бани? — бубнил редактор.

И поскольку русалка лишь пожала плечами, добавил:

— Может быть, всё-таки вы удостоите своего редактора ответом?

— Так вы же сами сказали: не подготовила. И она опять уплыла...

Вот люди! Не ценят они человеческого отношения, могут испортить настроение в одну минуту. Но впереди был длинный рабочий день, и Григорий Васильевич решил поберечь свои нервы.

Уединившись в застекленной каморке, редактор и ответственный секретарь принялись обсуждать следующий номер газеты.

— Передовую, — сказал редактор, — дадим небольшую. Строк сто двадцать.

Коля тут же вычертил на макетной страничке аккуратный прямоугольник и сразу же отметил условным обозначением шрифт, которым будет набрана передовая: «петит полужирный».

— Правильно, — похвалил его редактор. — Передовая — это флаг газеты, ее надо выделить.

Ах, выделить? И Коля заключил еще не набранную и даже не написанную передовую в фигурную рамку.

— На первой полосе, — сказал редактор, — мы даем из номера в номер снимки лучших людей. Просто и строго. Портрет и соцобязательство.

А Коля уже обозначил на макете два клише по полторы колонки каждое и лихо выписал название рубрики: «Люди украшают район».

— Я, как пришел сегодня, сразу посмотрел подшивку, — объяснил он приятно удивленному («И откуда ты всё знаешь?») редактору. Ну и хлоп-пец!

— На внутреннем развороте, — сказал Коля, — мы дадим «Советы агронома». Я вчера прихватил в обкоме свежий бюллетень ТАСС. Попросил у инструктора по печати, а то когда они сами его пришлют...

— Молодец! — улыбнулся редактор. — И, пожалуйста, не забудь: надо у этой лентяйки забрать письма. Они у нее уже месяц в столе валяются. Одно подготовь в номер, а на другое дай вежливый ответ.

Многое еще в процессе работы им предстояло уточнить, но в общих чертах будущий номер уже вырисовывался.

Получался он не хуже и не лучше сотен предыдущих номеров и этой, и других районных, областных и межобластных газет, и был, как говорится, на уровне. Помимо передовой и советов агронома (который советовал хлеборобам соблюдать правила агротехники), была запланирована еще статья председателя колхоза об экономике — о том, что хозяйство надо вести рачительно и притом на научной основе; по отделу «Партийная жизнь» предполагалось поднять вопрос о том, что первичные организации должны возглавить наиболее достойные коммунисты, а лирическая зарисовка «Когда ветер в лицо» призывала девушек осваивать профессию тракториста.

Обычно все эти статьи писал сам редактор, и потому у газеты был свой, годами выработанный стиль. И хотя никто, кроме корректорши, районную газету не читал, — не торопитесь с выводами! — она была отнюдь не бесполезна.

Во-первых, одни только слова «Заря коммунизма» вселяли в людей бодрость и уверенность в завтрашнем дне. А скромные, без потуг на дешевую сенсацию, заголовки статей убеждали, что Пивеньский район шагает в ногу со всей страной

уверенной поступью и туда, куда следует.

Ведь если изо дня в день пишут столько о высоких урожаях, то ясно же, что (не завтра, конечно!) в конце концов проблема эта будет решена. И экономику на научные рельсы поставят. И колхозы понемногу поднимутся, станут на ноги. Когда-нибудь и мы начнем по-человечески жить...

Газета не сообщала ничего нового, однако у нее и не было такой задачи. Задача как раз и заключалась в том, чтобы из месяца в месяц, из года в год талдычить одно и то же. Такой подход к делу имел свои серьезные преимущества: даже не открывая газету, все заранее знали, что в ней написано.

Между тем дело спорилось, и довольно быстро редактор и ответственный секретарь добрались до последней, четвертой страницы. Здесь Коля, ни о чем не спрашивая Григория Васильевича, выделил невысокий подвал, поставил рубрику «Фельетон» и написал заголовок: «ВЕРТИХВОСТКИ».

— Ты считаешь, стоит давать? — поморщился редактор.

— Шеф, я вас не совсем понимаю... Разве этот вопрос не был нами решен?

— Ну, как тебе сказать...

— Я лично, — сказал Коля, — подобных вещей не прощаю. — И он ловко врезал в текст подвала обозначения двух (по полторы колонки каждая) фотографий.

— А где ж ты эти снимки возьмешь? — сказал редактор тоном, каким обычно солидные люди останавливают зарвавшегося юнца.

— Шеф! — Коля положил на стол корейскую, с золотым пером, авторучку: — Эти фото я возьму в паспортном отделе милиции.

— Да, — сказал редактор. — Я как-то сразу не подумал...

— А я подумал, — сказал Коля.

Но и это было еще не всё! Не только профессиональные знания и железную хватку журналиста продемонстрировал Коля в первый же день пребывания на посту ответственного секретаря.

Часам к одиннадцати, когда уже гудел лино-тип, отливая в металле «Советы агронома», заявился в редакцию такой себе тихенький с виду и даже жалкий старичок, а на самом деле оккупант, лютей враг и мучитель редактора.

Сколько лет существовала на свете «Заря коммунизма», столько она и стонала под пятой старичка, и это было — как татаро-монгольское иго.

— Доброго здоров'ячка! — сказал с порога неряшливый, безобразный негодяй, улыбка которого обнажала белесые десны с одиноким, торчавшим из них, кривым, закованным в железную коронку, зубом.

Не смущаясь почти неслышными ответами Ларисы, Тамары Михайловны и своего тайного приспешника линотиписта Сашки, не решавшегося при всех обнаружить затаенную радость, старичок вытер о коврик ноги и остановил свой взгляд на Колином письменном столе.

— Позвольте, уважаемый молодой человек, познакомиться с вами!

Старичок хихикал и дрожал от удовольствия:

— Меня фамилие — персональный пенсионер Усякин. Орденоносец и старьй, с шестнадцатого года большевик! — И с эдаким, чисто ленинским лукавством, старьй большевик искоса, вприщур взглянул на Колю, заранее зная, какое впечатление произведут его слова.

Этой испытанной во множестве провинциальных учреждений фразой старичок привык гипно-

тизировать людей, превращать их в безропотных слушателей, чтобы потом часами всласть изливаться потоками бесконечных историй из своего революционного прошлого.

Но бывает же: коса нашла на камень! Услышав, что перед ним старый большевик, живая история Советской власти, Коля не только не вскочил со стула с восклицаниями «Ах, неужели! Ах, как интересно!», но и бровью не повел. Более того, он всем своим видом дал понять, что не одобряет эту чрезмерную — именно *чрезмерную!* — стариковскую общительность. И, не сделав даже попытки приподняться, Коля просто сообщил в ответ свою фамилию, будто персональному пенсионеру ее нужно было зачем-то знать. Дескать, вот так: ты — Усякин, я — Демченко, будь здоров и не мешай работать.

Но старичок тоже был не промах! Он даже любил таких, норовистых поначалу. И сейчас, едва попробовал он затянуть аркан на шее своей новой жертвы и почувствовал, что брошенная им петля не достигла цели, оставил веревку валяться в пыли под ногами, быстро-быстро-быстро вырыл у письменного стола яму, укрепил на дне ее заостренный кол и швырнул в логово горящую головешку:

— Перед вами, юноша, участник штурма Зимнего дворца и первых субботников! Человек, видевший Ленина... Если только нашу молодежь еще интересуют подобные вещи...

Эти слова старичка были просто ужас до чего подлыми, с закидоном! Сейчас мы, мол, выясним, что ты за птица — наш ты или не наш?

Но даже эта скрытая в последних словах угроза никак, совершенно никак не подействовала на Колю.

— Я извиняюсь, — развязно отвечал старому большевику Коля. — Но в настоящее время я

очень занят, и если вы принесли какой-нибудь материал для нашей газеты, то, пожалуйста, оставьте...

— Пожалуйста оставьте... — Старичок сокрушенно вздохнул и положил на стол свою неизменную (и как это о ней сразу не было упомянуто?) папку. — Нет, это *вы* оставьте, молодой человек! Оставьте эту вашу слишком современную манеру разговора, как будто вы американец какой-то, а не скромный советский журналист и комсомолец. Вы комсомолец?

— Товарищ Усякин, я дико извиняюсь!.. — отрезал Коля и опустил глаза на макетные странички.

Только минуты через три Николай поднял голову и осмотрелся. Лариса оживилась, у нее порозовели щеки, жужжал линотип, методически выплевывая сверкающие строки «Советов агронома». За прозрачной перегородкой старичок расселся на стуле, расстегнул пальто и достал пачку исписанных карандашом страничек. Редактор, скривившись, потянулся было за рукописью, но старичок не отдал ее, а всё что-то доказывал, доказывал!.. Сейчас он извлекал из папки старую, с изжёванными краями групповую фотографию, и в глазах редактора можно было прочесть отчаяние.

Красной нитью через всю жизнь Усякина прошла страсть к сочинению мемуаров. Он и пострадал в свое время из-за этой пагубной страсти.

Как-то раз сочинил Усякин один мемуар про Сталина. Все тогда на эту тему писали, и Усякин просто не мог стоять в стороне от поголовного литературного процесса. Увлёкся, строчил, словно в чад!..

Будто работал он когда-то в Кремле шофером и ночами катал Иосифа Виссарионовича по набе-

режной на открытой машине. Очень живо описал Усякин, как Сталин на полном ходу становился во весь рост на подножку автомобиля, поднимал руку, и, повинуясь величественной бессловесной команде, Усякин-шофер всё добавлял и добавлял газ, пока стрелка указателя скорости не переваливала за отметку «100». Тогда Сталин опускал руку, и они мчались...

Измучился следователь. Он уже и зубы все, кроме того, последнего, повыбивал Усякину — никак не мог выяснить, из каких источников понабирал мерзавец такие интересные сведения для своей идеологической диверсии:

— У тебя ведь водительских прав даже нет! Ты же в ГАИ никогда зарегистрирован не был.

Но Усякин стоял на своем:

— Зарегистрирован не был, а Сталина катал.

Воспоминания свои (и теперь уже только про Ленина!) старичок сочинял ко всякому празднику заново. И всегда с новыми, захватывающими подробностями. Очень художественно описывал он, как крейсер «Аврора» высаживал на Сенатскую площадь десант морской пехоты, впереди которого с развевающимся знаменем и с криками «За родину, за Ленина!» бежал молодой Усякин, как Ленин таскал на субботнике бревно с ним, с Усякиным, в паре. Но это еще терпимо, еще куда бы ни шло. Но когда Ленин, оступившись, подворачивал ногу и бревно вот-вот должно было рухнуть ему на голову, а Усякин — в один миг!.. Тут уж извините! Тут у редактора не хватало выдержки, он прерывал читавшего ему вслух Усякина и между ними начинался спор:

— Ну зачем вы это написали? — еле сдерживаясь, говорил редактор.

— Как это — «зачем»? Пусть молодежь знает! — Усякин приближал свое небритое лицо поч-

ти вплотную к редакторскому и брызгал ядовитой слюной: — Я догадываюсь, *почему* это вам пришлось не по вкусу!

— Потому, что это даже политически! — если хотите знать — неверно! — кричал редактор. — И не собираюсь я свою голову подставлять за подобную писанину!

— *Писанину?* Вы ответите за свои слова!

Старичок уходил, а редактор, с ненавистью отшвырнув рукопись, доставал подшивку «Зари коммунизма» и старательно переписывал из нее прошлогодний вариант статьи, уже апробированный и не доставивший неприятностей.

На Сашку же каждое новое воспоминание старого большевика производило неизгладимое впечатление. Он глубоко почитал Усякина. Впрочем, он всех почитал. Сердце линотиписта буквально разрывалось на части, когда Лариса и редактор скандалили в большой комнате, и, оставшись наедине с Тамарой Михайловной, он говорил:

— Ну как же это, Тамара Михайловна, так? Два таких *золотых* человека — и...

А если с редактором спорился Усякин, Сашка говорил:

— Как же так!? Два таких *больших* человека — и...

Не с первой, а с последней страницы открывал Усякин любую попавшуюся ему в руки газету. «После тяжелой и продолжительной болезни ушел от нас верный соратник, член КПСС с 1914 года...» — с волнением читал Усякин, и ничто не побуждало его к писательской деятельности так, как эти маленькие объявления в траурных рамках: «Неумолимая смерть вырвала из наших рядов мужественного, верного-примерного...» Часто умирали большевики, которые были много моложе Усякина. Скоропостижно кончались, уносимые инфаркта-

ми, комсомольцы двадцатых годов — слабаки! Но по какой-то загадочной, неизвестной причине число ветеранов партии с годами не уменьшалось, а наоборот — увеличивалось! В газетах появлялись всё новые и новые имена штурмовавших Зимний, носивших с Лениным бревно и лиц, фигурировавших во всевозможных ленинских записках: «т. Кацнельсон, убедительно прошу выдать т. Бабкину сапоги. В. Ульянов».

По данному, например, вопросу — о чуткости вождя, наглядно проявившейся в ленинской директиве о выдаче сапог — в печати еще с довоенных времен регулярно выступали красный комкор Бабкин и профессор марксизма Кацнельсон. В неизвестный период комкор с профессором были разоблачены, потом честь по чести (посмертно) реабилитированы, но как только за мемуары перестали сажать, сразу же объявились два новых Бабкина и три лже-Кацнельсона. А какой-то подлец, проньера, который был даже не Кацнельсон, а всего-то Кац, вдруг разразился в «Комсомольце Донбасса» документальной, с продолжением из номера в номер, повестью «Памятный подарок Ильича».

Усякин собрал всё лучшее, что повычеркивал из его сочинений редактор, и поехал в Киев.

Завотделом пропаганды большой солидной газеты, молодой еще, веселый плут брезгливо перелистал неопрятную рукопись:

— Так вы говорите, еще бы чуть-чуть и — по голове?

— Представьте себе, — сказал Усякин.

— Ай-яй-яй! — сказал плут.

— А вы как думали, — сказал Усякин.

— Потрясающе! Но просто так — взять и напечатать — мы не можем.

— А как же? Я хочу, чтобы молодежь знала...

— Папаша, — сказал плут. — Я просмотрел вот это (он опять полистал сочинение) и пришел в восторг! Но это я пришел в восторг как читатель. А как заведующий отделом я обязан попросить у вас подтверждение приведенных в статье фактов.

— Какие такие подтверждения, если пишет старый, с шестнадцатого года...

— Дорогой мой, — ласково сказал плут, — я буду драться на редколлегии за ваш материал. Но вы сначала сходите в группком...

— Куда?

— В групповой комитет старых большевиков при музее Ленина. Я не сомневаюсь, что они вас узнают, вспомнят и письменно подтвердят, что всё было именно так, как у вас указано. Отец, я вам желаю всех благ...

Плут прижал к сердцу руку и склонил голову набок.

Пришлось пойти. Но так почему-то не хотелось Усякину общаться с другими старыми большевиками, что, придя в музей, он сначала не стал узнавать, где находится их чёртов группком, и прошелся по залам.

Красиво, торжественно было в музее. Вход бесплатный. Из зала в зал по сверкающему паркету переходили солдаты в парадной форме; принаряженные пионеры, облепив экскурсовода, тыкали пальцами в застекленную витрину:

— Тетя, это костюм настоящий?

— Настоящий, деточка.

— А Ленин его носил?

— Нет, это копия. Подлинник находится в Центральном московском музее.

— А шалаш подлинный?

— А котелок?

По ступеням из белого мрамора спустился Усякин в подвал, где помещались лекционный зал и комната группкома.

Двери в аудиторию были распахнуты, и Усякин услышал дребезжащий старческий голосок лектора:

— Мороз в Москве стоял лютый, а я пришел в Кремль в лаптях. Засмеялся Ильич: неподходящая у вас, товарищ, обувка...

«Куда я попал?» — с ужасом подумал Усякин. Но желание напечататься в солидной газете было сильнее робости, и старик постучался в дверь, на которой висела табличка «Групповой комитет».

— Долдонов, — представился маленький, ссохшийся, какой-то игрушечный генерал, обитавший за этой дверью.

— Меня фамилие Усякин...

Но начать обстоятельный разговор о своем деле Усякин не мог. Один за другим в комнату входили важные, надменные старички, хорошо одетые, в костюмах, ухоженные. Они знакомились с Усякиным, но, отступив в сторону, никуда не уходили и своего разговора не затевали, а смотрели на новичка и на своего генерала.

Из лекционного зала донеслись жидкие аплодисменты, хлопанье стульев, и в комнату вкатился пухленький колобок-лектор.

— Бабицкий! — дребезжащим голосом назвался он, приветствуя Усякина.

Толстенная, на слоновьих ногах старуха, словно тисками, до боли сдавила ослабевшую руку Усякина:

— Кацнельсон!

— Так чем же мы всё-таки обязаны, товарищ Усякин..? — уже несколько раздражаясь, повторил генерал Долдонов.

— Я, видите ли, написал воспоминания... — неуверенно начал Усякин.

— О чем?

— О субботнике...

— О кремлевском?

— Я, знаете ли, большевик с шестнадцатого года...

— А мы все здесь не комсомольцы!

И старички заквакали, захихикали, а слониха даже взвизгнула от разбиравшего ее смеха. Но едва смех утих, как они все сразу, перебивая друг друга, стали задавать Усякину различные каверзные вопросы: как был одет на субботнике Ленин, и не помнит ли случайно Усякин, появлялся ли во дворце товарищ Володарский, и кто именно работал с Лениным в паре?

Усякин удержался и не сказал, что в паре с Лениным работал именно он. И правильно сделал, так как киевский групповой комитет на том и стоял, что бревно на субботнике с Ильичем носил генерал Долдонов. Но если Усякин не выставил себя самозванцем, то и признанную версию он не поддерживал, и потому при каждом его ответе старые большевики переглядывались с таким видом, что, мол, им уже всё, абсолютно всё понятно.

Откуда-то появилась большая групповая фотография.

В центре снимка на стуле сидел Ленин, а вокруг него стояли, сидели и, чтобы не заслонять других, даже лежали на земле какие-то люди... Усякину объяснили, что фото это, как он, наверное, помнит, было сделано сразу же после субботника, и предложили опознать на снимке самого себя.

— Не помню точно, — прошептал пересохшими губами Усякин. — Кажется, это я... — и он ткнул пальцем в какого-то усача в третьем ряду.

Старички опять переглянулись.

— Это мой покойный муж! — выскрилась на Усякина слониха. — А возле него товарищ Долдонов. А вот товарищ Бабицкий в подаренных Владимиром Ильичем сапогах.

— Столько лет прошло, — отмазывался Усякин. — Я, знаете, пострадал в период культа...

— А кто не пострадал? — с достоинством сказал Долдонов.

— Может быть, это я? — снова ткнул пальцем Усякин, и снова, наверное, невпопад, потому что на этот раз ему никто не ответил, а фотографию спрятали.

— С памятью у меня не того... — пожаловался Усякин.

Но жалоба не встретила сочувствия.

— В таком случае, если вы сами не ручаетесь за свою память, — сказал генерал, — как же вы можете братья за перо? Вы отдаете себе отчет, какую ответственность...

Усякин был рад, что его отпустили с миром.

Отойдя от музея шагов на сто, он увидел небольшую толпу, состоявшую из людей, одетых бедно, как сам Усякин, и даже оборванных. Усякин подошел поближе и понял, что эти люди собрались у входа в винный погребок.

Спустившись по трем шатким ступенькам, старик протолкался к прилавку и попросил налить «чего-нибудь недорогого, но такого, чтоб почувствовалось»...

Бой-баба с бриллиантами в ушах налила ему стакан смердящего портвейна, дала, как всем, конфетку и шестнадцать копеек сдачи с рубля.

Едва Усякин пристроился в уголке со своим стаканом, как тут же обзавелся новыми приятелями, симпатичными и общительными. Один из них оказался бывшим прокурором, другой — быв-

шим директором Днепровского пароходства, третий — бывшим директором издательства. Все они были завсегдаями знаменитой и доживавшей последние дни «Академбочки», куда попал Усякин.

— Лично я ничего хорошего в этом Киеве не нахожу, — затеял отвлеченный разговор Усякин. — И чего все сюда так стремятся?

— Ну почему же, — мягко возражал прокурор. — У нас есть разные напитки...

Старику хотелось выговориться, отвести душу, и, поставив приятелям бутылку кислого столового вина за шестьдесят пять копеек, он излил им свою печаль. Рассказ Усякина был встречен с таким искренним и глубоким пониманием, что совершенно естественно и как-то незаметно появилась и вторая бутылка кисляка. И тут уже выяснилось, что генерала Долдонова директор издательства и прокурор знают лично, и притом с самой плохой стороны.

— Я жалею, что не посадил его в свое время, — сказал прокурор. — Я мог посадить кого хочешь.

— Еще как мог! — соглашался директор пароходства.

— Да если бы ты пришел ко мне пять лет назад, — сказал Усякину директор издательства, — я бы твои воспоминания выпустил в двух томах! Я мог...

— Вот этими руками человек делал революцию! — со слезой в голосе сказал прокурор и поцеловал Усякину руку. — Я никому в жизни рук не целовал, а эти — целую! Поставь еще бутылочку и ты об этом не пожалеешь...

Где наше не пропадало?! Наскреб Усякин еще сорок восемь копеек, директор пароходства добавил недостающие семнадцать, и действительно,

жалеть об истраченных деньгах старику потом не пришлось.

Грохотавший на стыках рельс трамвай вез друзей в привокзальный рабочий район — на Соломенку. На задней площадке вагона, ухватившись за поручни, раскачивались оба директора, а на сиденье прокурор обнимал Усякина и жарким шепотом рассказывал ему историю своего друга, бывшего художника, к которому они ехали.

— Я ему когда-то шесть лет дал, но я досрочно его освободил и дал разрешение на прописку в Киеве. Знаешь, как он меня уважает? Ты сейчас увидишь, как он будет нас принимать!

— Он может сделать для тебя такую вещь, — шептал прокурор, — что тебе и не снилась! Он всё сделает, если я скажу.

Но сути дела прокурор не открывал:

— Ты меня не перебивай. Ты слушай!

Прославился художник, друг прокурора, первой же своей, но очень большой — девять на двенадцать метров! — картиной. Оригинал ее много лет висел на самом почетном месте в Галерее украинской живописи, а бесчисленные копии украшали приемные и вестибюли всевозможных учреждений, дворцов культуры, кинотеатров.

Изображены были на том полотне все руководители партии и правительства. Они стояли с бокалами в руках вокруг праздничного стола.

Неожиданность столь своеобразного замысла (казалось бы: почему это вдруг с бокалами?) исчерпывающе разъясняло и оправдывало название картины: «Тост за победу великого советского народа». Более того, удачное название это придавало картине совершенно исключительную, не тускнеющую с течением времени злободневность!

И хотя художник написал свой шедевр по конкретному историческому поводу, запечатлев на нем празднование победы в Отечественной войне, но поскольку советский народ и после войны одерживал всё новые и новые победы (то на хозяйственном, то на идеологическом фронте), постольку — с каждой новой победой — и росла актуальность этой подлинно правдивой по сути своей картины. И каждому, кто глядел на полотно, казалось, что создано оно вчера и как раз к сегодняшнему дню!

Ибо если вникнуть, то ведь просто по правде жизни должны же были члены правительства время от времени где-то собираться — в Кремле или на правительственной даче — и отмечать, скажем, создание Великого плана преобразования природы или успешное разоблачение всяких вредителей, космополитов и лженаук.

По своему содержанию полотно было глубоко партийным, а по форме — подлинно реалистическим. Нарисованные члены правительства были, с одной стороны, обобщенными художественными образами, но одновременно и конкретными личностями. Так что, теснясь у полотна, простые люди могли узнавать своих вождей и объяснять детям, кто и где нарисован.

Конкуренты художника распространяли слухи, будто картина его приобрела успех благодаря ловко выбранной теме. Но даже людям, не разбирающимся в тонкостях живописи, и то было ясно, что только одаренный художник мог хотя бы по композиции построить свою картину так, чтобы не было на ней самого стола — с бутылками и различными закусками, т. е. натуралистических деталей, которые только приземлили бы произведение и вызвали бы у простых людей нездоровый интерес к тому, какие именно члены правительства

предпочитают напитки, чем закусывают и т. д. А если бы были видны на картине, допустим, блюда, тарелки, то, безусловно, кое-кто не удержался бы, начал сравнивать, сопоставлять, что этот, мол, член правительства навалил себе на тарелку побольше, а этот масла на булку намазал потолще, а этот только пьет и вообще не закусывает; и пошли бы всякие ненужные разговоры, кривотолки...

Но главное достоинство картины заключалось в том, что была она подлинным зеркалом своей эпохи. Как только в составе правительства происходили какие-нибудь изменения, художник тотчас же отображал их в своем произведении. Стало известно, например, что маршал Берия — иностранный агент и «волк в пенсне» (как сразу же после разоблачения метко определила его суть наша печать), а художник — на посту! Буквально в одну ночь соскреб он с полотна и пенсне, и самого волка, а на его туловище насадил голову другого маршала — Н. А. Булганина, которого как раз тогда же единогласно избрали главой правительства.

Нахомотал Г. М. Маленков что-то там с темпами роста тяжелой и легкой промышленности, художник сразу же — долой его с картины! А вместо этого путаника нарисовал Никиту Сергеевича в мундире генерал-лейтенанта, который воевал хоть и в таком относительно невысоком звании, но, как стало в то время известно, сыграл в дни Великой Отечественной войны совершенно выдающуюся роль.

За каждое внесенное в картину изменение платили художнику большущие деньги, так что новых картин он и не создавал, а только исправлял эту единственную — дело всей своей жизни.

Особенно много работы было у художника после победы над антипартийной группой Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. По-

том оказалось, что в это нечистое дело впутался еще и Ворошилов. И министра обороны Жукова тоже надо было убрать, после того как он принизил в армии роль комиссаров-замполитов. Словом, трудился художник не покладая рук, и особенно хорошо в тот период жилось ему в материальном смысле.

Но враги художника неумоимо плели вокруг него сеть интриг, и когда сняли Хрущева и наверху опять заговорили о коллективном руководстве, то задумал художник (на редкость удачно!) вместо одного Никиты-кукурузника дорисовать сразу несколько новых фигур — нового секретаря ЦК комсомола, нового председателя КГБ, еще пару выдающихся товарищей, чтоб, значит, теснее сплотить ряды нашего руководства, и, засучив рукава, явился в галерею... его картины на месте не оказалось.

В кинотеатрах, клубах, райкомах тоже в считанные дни поснимали все копии, и очень скоро художник понял, что окружали его не друзья, а собутыльники. Ученики-копиисты тоже покинули мастера, ушла молодая жена, которую художник подобрал в кордебалете и сделал прима-балериной; в дверь роскошной прежде квартиры постучалась нужда...

Но художник не сдался. Это был человек не только большого дарования, но и большого ума. Уже опустившийся, спившийся, он придумал такое!.. Нарисовал каждого в отдельности всех членов нового политбюро, сделал с портретов цветные фотокопии, повставлял их в дорогие красивые альбомы и стал рассылать во всевозможные провинциальные, но богатые конторы: на базы «Утильсырьё» и «Заготскот», в артели по выпуску мыла и пластмассовых шахмат, в райторги. К каждому альбому прилагалась узенькая, отстукан-

ная на машинке бумажонка: «Объявленную стоимость 127 руб. 46 коп. (будто бы калькуляцию на альбом составляли) предлагается перевести по безналичному расчету на счет №...». И ни один воюрга-заготовитель, ни один председатель артели не посмел отказаться от присланного альбома. И снова, как в былые времена, потекли рекой деньги на счет художника; так что живопись он совсем забросил.

Под мрачными сводами Лукьяновской тюрьмы с новой силой пробудилась у живописца тяга к творчеству, и создал он новый шедевр. Написал он его в считанные недели на глухом, без окон, фасаде следственного изолятора, который находился во дворе тюрьмы, напротив ее главных ворот.

К этим воротам на выход — с расписанной стены — шел благообразный, хотя и потрепанный жизнью мужчина с поседевшими височками, очень похожий на самого художника. Вроде бы это был автопортрет. В одной руке мужчина нес чемоданчик с вещами, а в другой держал над головой написанную маленькими, но вполне читающимися буквами «Справку о досрочном освобождении». А внизу художник написал большими буквами: *«Я покончил с позорным прошлым!»* И теперь каждый новый заключенный, которого привозили в тюрьму, первым делом у самого входа встречался с этим мужчиной, изображенным на стене, который уже покидал Лукьяновку и тем самым внушал преступникам чувство оптимизма.

Роспись по фасаду изолятора особенно понравилась полковнику, начальнику тюрьмы.

— Теперь у нашей тюрьмы совсем другой вид, — сказал полковник и послал надзирателя за автором. В личной беседе начальник тюрьмы выразил художнику свое одобрение, но сделал и два

существенных замечания. Не в форме приказа, а в форме пожелания указал гражданин начальник, что к надписи, очень хорошей и содержательной *«Я покончил с позорным прошлым!»* следовало бы добавить еще и такие слова: *«К прошлому возврата не будет!»*, поскольку Лукьяновка была переполнена рецидивистами. Деловую критику художник воспринял правильно, а начальник тюрьмы опять-таки тактично спросил, не выиграет ли, по мнению художника, картина, если у ворот тюрьмы он изобразит еще и старуху-мать, которая будет встречать своего сына, возвращенного к новой жизни?

Эта идея начальника тюрьмы вызвала самое горячее одобрение всех участников необычной творческой дискуссии: и заместителя по режиму, и оперуполномоченного, и двух старших надзирателей, а сам художник, который и на воле не привык особенно упираться, когда ему предлагали что-нибудь переделать, принял указание с благодарностью, все быстренько исправил и вскоре был досрочно освобожден.

А картина на стене следственного изолятора в Лукьяновской тюрьме сохранилась и по сей день, и многих, говорят, даже самых закоренелых преступников, наставила она на путь исправления. Вот какую силу имеет подлинное искусство! Вот какую историю услышал в грохочущем трамвае Усякин из уст прокурора, который лично знал художника, сам клепал ему срок, сам оформлял документы на помилование и уже потом, когда погорел и вылетел из прокуратуры, встретившись случайно с художником в «Академбочке», крепко с ним подружился.

На трамвайной остановке обоим директорам — издательства и пароходства было велено обождать, прокурор и Усякин, поблуждав кривыми-косыми

переулками, вошли в какой-то дворик и по полу-сгнившей деревянной лестнице поднялись на второй этаж.

Открыл им сам художник — изможденный, изношенный, с бегающими желтыми глазками.

— Это мой лучший друг! — представил Усякина прокурор. — Мы к тебе по делу...

— Я никакими делами больше не занимаюсь, — сказал художник.

— Ну ты брось, брось! — сказал прокурор. — Он тебя хорошо поблагодарит! Я за него ручаюсь!

— Старый большевик? — спросил художник. Усякин кивнул.

— С какого года?.. Ясно.

Художник вышел в соседнюю комнату.

— Сейчас ты всё сам увидишь! — многозначительно пообещал прокурор. Вскоре художник вернулся, он принес большой черный конверт.

— Только учтите, такая штука стоит сто рублей, — сказал художник, извлекая из конверта крупноформатную фотографию и протягивая ее Усякину.

На снимке была запечатлена здоровенная голая баба в черных чулках и маленький голенький карлик в черном цилиндре. Они страстно ласкали друг друга.

— Тьфу, чёрт! — сказал художник, заметив свою ошибку, и вытащил из пакета другое фото.

Усякин так и затрясся, он не верил своим глазам.

В центре снимка, на стульчике, сидел... Ленин! А вокруг него стояли, сидели и даже лежали... Да! Это была та самая фотография, которую сегодня уже показывали Усякину. И только в третьем ряду группы не было ни генерала Долдонова, ни Ба-

бицкого, ни мужа слонихи. Их места занимали какие-то грустные евреи в будёновках.

— Давайте вашу карточку, — сказал художник. — И плату вперед.

— Какую карточку? — Усякин еще не уразумел всего до конца.

— Как какую? Где вы в молодости...

Усякин понял. В то время, когда лишенные образования фотографы-пятиминутчики за рубль впечатывали вашу физиономию под папаху намазанного на холсте горца («Привет с Кавказа!») или, тоже за рубчик, изображали вас на открытке «Привет из Одессы» выглядывающим из чахлых кустов у памятника дюку Ришелье, этот гордый ум с помощью всё тех же нехитрых средств фотомонтажа поворачивал вспять время, помогал людям — не сразу, с колебаниями принявшими революцию — исправить ошибки молодости и как бы еще раз, сначала прожить те бурные годы: в рядах будёновцев, на платформе бронепоезда «Буревестник революции» и даже принять участие в первом кремлевском субботнике. И всё это делал художник с горьким сознанием того, что каждое новое благодеяние неотвратимо подталкивает его обратно, к воротам Лукьяновской тюрьмы, к переполненным камерам следственного изолятора, к многочасовым, изнурительным допросам... Всё это тоже понял Усякин.

— Нет у меня с собой карточки, — грустно сказал он. — И денег у меня таких нет...

— А что же у тебя есть? — рассердился художник.

— Подожди, не спеши, — вмешался прокурор. — Ничего ему впечатывать не надо. Вот же он на снимке!

— Где? — притворно изумился художник. — И правда, очень похоже.

Усякин посмотрел, и сначала ему показалось, что над ним смеются. В последнем ряду из-за спин торчала чья-то драная шапка; на нее и указывал прокурор. Но чем старательнее вглядывался Усякин в крупнозернистое изображение, тем больше ему казалось, что какое-то сходство есть!

— Два с половиной червонца — и это уникальнейшее фото твое! — Художник хлопнул Усякина по колену.

Они сошлись на семи рублях, и прокурор тут же вызвался сбегать за поллитрой:

— А то у меня после кисляка такая неприятная изжога...

Но художник давать ему денег не хотел, и Усякин поспешил попрощаться:

— Спасибо и всего хорошего!

При весьма скромных средствах старика затраченная им сумма была весьма значительной, и он старался как можно скорей уговорить себя, что деньги не выброшены собаке под хвост, что сходство просто очевидно и даже сразу бросается в глаза.

На трамвайной остановке, хотя прошло уже более часа, его терпеливо ждали оба директора. Они увязались за Усякиным в «Дом колхозника», куда он поехал забирать свои пожитки, проводили его на вокзал и, когда уже купили билет, перед самым поездом выцыганили еще по бутылочке пива.

— Самое главное в твоём деле — это писать и писать! — вытирая пену с губ, наставлял Усякина директор издательства. — И запомни: не любят читать в редакциях написанное от руки. Обязательно всё, что напишешь, отдавай машинистке...

От фотографии, которую Усякину якобы подарили в музее, Сашка пришел в неописуемый восторг: «Это ж такая рыликвия!», а в том, что Усякина теперь начнут издавать, у линотиписта не было и тени сомнения.

— Только жениться вам надо, — задумчиво сказал Сашка. — Для пользы дела...

Усякин насухую поскреб бритвой зеленатоватую щетину на подборотке и, разжившись бутылкой самогона, отправился к Тамаре Михайловне — свататься.

Безо всяких обиняков и хитростей предложил Усякин вдове руку и сердце, сказал, что «любви все возрасты покорны», что Тамару Михайловну он приглядел уже давно, и тут же, с очаровательной откровенностью, открыл ей все свои недостатки.

Во-первых, объяснил Усякин, человек он хотя и немолодой, но застенчивый и не по заслугам (показал фотографию) скромный; потому и не решался открыть Тамаре Михайловне свои серьезные намерения раньше. Во-вторых, он очень любит и собирает книги про Ленина, про революцию, а в в-третьих, у него плохой, никуда негодный, абсолютно неразборчивый почерк.

Все недостатки Усякина Тамаре Михайловне очень понравились: и его скромность, и откровенность, и культурность; и посчитала она, что это совсем даже не недостатки, а скорей — достоинства, и решила, что если персонального пенсионера отстирать, подштопать, подгладить, вставить ему зубы, то получится не то чтобы что-то такое особенное, но так себе и еще вполне ничего... Однако, женщина сдержанная, она отвечала, что дело это серьезное, что спешить некуда и надо ей хорошо подумать.

Жениховство ладилось, и за столом, захмелев от стопочки, Усякин поделился с Тамарой Михайловной своим планом, что как только переберется он к ней, то сразу же засядет за мемуары а она уйдет на пенсию и станет эти мемуары печатать, печатать, и по многу экземпляров, и как разошлют они эти экземпляры во все газеты, и как потекут гонорары! А если кто попробует не опубликовать мемуар, то он, Усякин, немедленно составит жалобу, а Тамара Михайловна немедленно перепечатает ее во многих экземплярах, и как разошлют они эту жалобу, будет тогда кое-кто знать, чем это пахнет — замалчивать славное усякинское прошлое; тем более, что даже фотодокументы, как он с Лениным — имеются на руках! А то, что он до сих пор не стал человеком известным, то пусть Тамара Михайловна даже не сомневается — это только из-за того, что он неразборчиво пишет, а печатать у машинисток за деньги не желал из принципа...

Но Тамаре Михайловне этот замечательный план совсем не понравился, и она тут же, за столом, отвергла и его, и Усякина.

— Я думала, что вы от чистого сердца, а если оно на самом деле так, как вы теперь говорите, то мне тогда ничего совершенно не надо, и извините, если что не так...

Сашка чрезвычайно расстроился, он совсем лишился дара речи и только подумал, что вот *два таких человека* — и!.. Но еще больше, чем Сашка, расстроился сам Усякин. Он попытался на следующий день еще раз объясниться с Тамарой Михайловной, сказал, что, по всей видимости, его неправильно поняли, что жениться на Тамаре Михайловне он решил (это даже смешно!) совсем не из-за почерка, и если Тамара Михайловна всё же потом надумает, то он всегда с дорогой душой...

Но и потом у них ничего не вышло, потому что потом она полюбила редактора...

Зато теперь Усякин получал удовлетворение от того, что Тамара Михайловна всё равно была вынуждена печатать его мемуары — по долгу службы, порой бестактно на это намекал, и Тамара Михайловна тяжело переживала каждый его визит. Но тут уж никто ничего поделать не мог: в редакцию Усякин наведывался частенько.

Прочитав в газете свою очередную статью (на правку Усякин ничуть не обижался), старичок снова являлся — получать гонорар. Собственно, гонорар платили внизу, в бухгалтерии, но, получив свои три рубля, Усякин поднимался на второй этаж, усаживался в редакторской каморке и, мусоля в руках новенькие рублевки, начинал всё сначала:

— Маловато плотите...

Редактор изображал на своем лице сочувствие:

— Нет у нас денег...

— Я шутю, — прямо-таки тихой смертью изводил старичок редактора. — Разве ж я пишу из-за денег?! Я пишу, чтобы молодежь знала...

Усякин развязывал тесемочки, раскрывал папку и доставал групповую фотографию. Двести человек было на снимке, и о каждом Усякин должен был непременно сказать: «Это был настоящий ленинец!» Делал он это с тонкой психологической задумкой, чтобы выходило, что и он, Усякин, тоже настоящий, верный, а не просто так — шаляй-валяй и пишущий пенсионер!..

К торчащей же из-за спин шапке Усякин долго подбирался, подкрадывался и, наконец, тыкал пальцем:

— А вот это, между прочим, я!.. Как сейчас помню тот апрельский денек... — И он принимался

подробнейшим образом пересказывать всё, что Григорий Васильевич за него, Усякина, написал.

«Когда-нибудь я его убью!» — думал в такие минуты редактор. Но отделаться от старика, просто выгнать его в шею он не мог. На правах старого большевика числился Усякин членом бюро райкома, как и редактор, и хотя веса старичок в бюро не имел, обзаводиться лишним врагом — такую роскошь не вправе был позволить себе Буцал. И он вынужден был публиковать эти чудовищные мемуары Усякина и, что было тяжелее всего, минимум два раза в месяц его выслушивать.

Но на этот раз редактора выручил Коля. Увидев помертвевшее лицо своего шефа, Коля спустился на первый этаж и, обнаружив в пустой комнате телефон, снял трубку:

— Девушка, дайте редакцию.

— Буцал слушает! — раздалось в трубке.

— У вас сейчас находится старый большевик Усякин? — давился от смеха Коля.

— Да-да, он как раз у меня в кабинете, — не узнав своего ответственного секретаря, сказал удивленный редактор.

— То дайте ему, пожалуйста, трубочку! Товарищ Усякин?

— Усякин у аппарата!

Старик разволновался. Телефона у него дома не было, и ему никто никогда не звонил.

— Прошу вас, Усякин, зайти в райсобес по вопросу увеличения вашей пенсии. И если вы заинтересованы — то срочно! — сказал Коля хамским начальственным тоном и, не оставляя промежутка для всяких вопросов, расспросов, повесил трубку.

Непослушными от волнения руками Усякин запихивал в папку фотографию.

— Вспомнили! Таких людей, как я, не забывают. Я говорил вам, что буду еще пенсионером *все-союзного!* значения. Москва подняла вопрос...

Врал старичок сразу двоим: самому себе и редактору.

— Я должен срочно идти. А папочку пока у вас оставляю...

— Ни в коем случае! — отрезал редактор путь к повторному визиту. — Мало ли кто тут ходит. В вашей папке ценнейшие документы!

— Я эту фотографию передам в музей революции, — пообещал Усякин.

— Берегите ее, — сказал редактор.

Старичок ушел, распираемый гордостью, едва кивнув Тамаре, Ларисе и своему поклоннику-линотиписту. А Коля одним духом взлетел по лестнице:

— Ну, как хохма?

Наверное, никогда прежде в этих казенных стенах не звучал подобной силы смех. Хохотала до икоты Лариса, задыхалась Тамара Михайловна, упал на талер и корчился в судорогах верстальщик-линотипист и навзрыд заходился редактор:

— Ой, не могу!

Но в это время зазвонил телефон. Редактор снял трубку и, прижав ее плечом к уху, резко поднял вверх свою единственную руку: «Тихо!»

— Здоров, прэса! — сказала трубка. — Ану давай — заходи ко мне...

*(Окончание следует)*

# Стихи анонимного поэта

...О стихах анонимного поэта. Это нечто очень сильное, глубокое и по сути новое. Первое стихотворение — метафизическое в лучшем смысле слова, с глубоким мистическим смыслом, как мне кажется — это Поэзия, с самой большой буквы. Второе — из тех напряжений, которые могут горло перехватить, если автор вдруг бы не написал его...

Тут не до анализа — хотя, если говорить, мастерство настоящее! Но ведь талант и есть та самая от Господа способность *обучиться* мастерству не внешние силы тратя, а напрягши внутренние.

Лишь рационалистические схоласты могут раскладывать по полочкам: вот содержание, это — Дух, а вот — форма, это — мастерство...

Да само ведь *совершенство* формы и есть проявление Духа, «ибо дышит, где хочет». И вне совершенства этого нет поэзии, ибо тогда чем отличить ее от прозы? Что коряво, то приблизительно, а что приблизительно, *не мастерски* — то не есть выражение Духа, а лишь многажды отраженных отблесков его... Так вот этот аноним — Мастер. В том самом, в мистическом булгаковском смысле. И если кажется, что он мне не близок внешним выражением, формой, — то за этим чувствую я главную близость к этому поэту: он говорит именно то и только то, что необходимо выразить, и ничего кроме, «ибо что сверх того, — то от лукавого» и сделало бы форму приблизительно и слабой.

«Дух культуры подпольной, как раннеапостольский свет!» — вот его кредо, и это прекрасно...

В. Бетаки

## ФОРМА

Какую форму примет нелюдим,  
когда гостей спровадит к полуночи?  
Он станет комнатой, тюрмою многоточий,  
сам для себя неуследим.

На кухню выйдя, газовой плитой  
почувствует себя — и вспыхнет, и согреет  
змеиный чайник — или же скорее  
нальется, как вода, гудящей теплотой.

Нет, книгу он раскроет, раздробясь  
на праздничную множественность литер,  
но кто его прочтет и кто с ним станет слитен?  
С кем он войдет в мистическую связь?

Да, книгу он отложит. Да, глаза  
покроет плесень древней полудрёмы,  
и сам себе уже полузнакомым  
он выпадет из мира, как слеза.

В том-то и дело: тому, кто остался одним,  
лестница Якова снится, железная снится дорога —  
вот он по шпалам, по шпалам, по шпалам гоним  
к точке скрещения рельс, к переменному символу  
Бога.

Кажется, выше и выше и выше — и вышел.  
Осталось немного.  
Красный кирпич. Полустанок стоит перед ним.

Он остановится. Как посох проросла,  
ветвась и зеленея, точка схода  
двух параллельных линий. Гарь. Свобода.  
Оживший гравий. Дождь. Куски стекла,  
неотличимые от капель. Сколько глаз  
из мусорной земли взирают на него!

. . . . .

Какую форму примет он сейчас?

Озираясь, он встретится взглядом со мною.  
«Нет! — я крикну ему, — нету здесь ни тебя,  
ничего твоего».

## СТИХИ АНОНИМНОГО ПОЭТА

Над роялем кричал Пастернак, а не поезд.  
Истаскан  
всяким путь по железной дороге. Любое с нею  
сравненье —  
застывшего сна вещество:  
липнет к пальцам, подобное масляным краскам.

Да, книгу он отложит. Окунет в небытие  
расслабленные кисти.  
Художник — нелюдим, вещей, движений, истин  
пустынное вместилище, и рот,  
готовый прилепиться ко всему.  
Он сам ничто. Ему ни дара слова,  
ни зренья острого, ни разума больного  
природой не дано, лишь окунаться в тьму,  
лишь пить и шлёпать лошадиными губами  
по чёрной нарисованной воде —  
гонять форель вокзальных фонарей...  
Он примет форму зала ожидания,  
на рельсах — дохлой кошки. И нигде.

## НА КРЫШЕ

Из брошенных кто-то, из бывших,  
не избран и даже не зван,  
живет втихомолку на крышах  
с любовью к высоким словам.

Невидим живет и неслышим,  
но как дуновенье одно...  
Не им ли мы только и дышим,  
когда растворяем окно?

Он воздух всегда безымянный,  
бездумный всегда и пустой,  
бумаги сырой и тумана  
давно забродивший настой.

Как зябко. Не выпить ли?.. Бродит  
по комнате. Листья скрипят.  
Неужто же и на свободе  
Душе не живется? Назад,

назад ее тянет, в людскую,  
в холодного быта петлю...  
Неужто я так затоскую,  
Что брошенный дом возлюблю

по выходе в небо?  
Кому-то под крышей послышится хрип —  
повешенная минута  
раскачивается, растворив

багровый свой рот и огромный...  
И стучаются башмаки  
о краешек рамы оконной —  
то смертного сердца толчки.

Впустите же блудного сына  
хотя бы в сообщество крыс,  
хотя бы в клочок паутины,  
что над абажуром повис!

Хотя бы вся жизнь оказалась  
судорогой одной  
предсмертной — но только не хаос  
Вселенной, от нас остальной!

Но только не лунная мука  
на площади, белой дотла,  
где ни человека, ни звука,  
ни даже намёка, что где-то  
душа по-иному жила,  
чем соринкой на скатерти света.

## СТИХИ АНОНИМНОГО ПОЭТА

\*\*  
\*

Пью вино архаизмов. О солнце, горевшем когда-то,  
говорит, заплетаясь, и бредит язык.

До сих пор на губах моих — красная пена заката,  
всюду — отблески зарева, языки сожигаемых книг.  
Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крылато,  
отлетая в объятия Логоса — брата,  
от какого огонь изгоняемой жизни возник.

Гибнет каждое слово!  
В рощах библиотек  
опьянение бывшего  
тяжелит мои веки.  
Кто сказал: катакомбы?  
В пивные бредем и аптеки!  
И подпольные судьбы  
черны, как подземные реки,  
маслянисты, как нефть. Окунуть бы  
в эту жидкость тебя, человек,  
опочивший в гуманнейшем веке!

Как бы он осветился, покрывшись пернатым огнем!  
Пью вино архаизмов. Горю от стыда над страницей:  
ино-странница мысль развлекается в мире ином,  
иногда оживляя собой отрешенные лица.

До бесчувствия — стыдно сказать — умудряюсь  
напиться  
мертвой буквой ума — до потери в сознание моем  
семигранных сверкающих призм очевидца!

В близоруком тумане  
в предутренней дымке утрат —  
винный камень строений  
и заспанных глаз виноград.

Труд похмелья. Похмелье труда.  
Угол зрения зыбок и стал переменчив.  
Искажающей линзой речи

расплющены сны — города.  
Что касается готики — нечем,  
нечем видеть пока что ее,  
раз утрачена где-то вражда  
между светом и тьмою.  
Наркотическое забытье  
называется, кажется, мною!

Дух культуры подпольной, как раннеапостольский  
свет,  
брезжит в окнах, из черных клубится подвалов.  
Пью вино архаизмов. Торчу на пирах запоздалых,  
но еще впереди — я надеюсь, я верую — нет!  
Я хотел бы уверовать в пепел хотя бы, в провалы,  
что останутся после — единственный след  
от погасшего слова, какое во мне полыхало!

Гибнет голос — живет отголосок.  
Щипцы вырывают язык,  
он дымится на мокром помосте из досок,  
к сапогам, распластавшись, прилип.  
Он шевелится мертвый, он пьян  
ощущением собственной крови...  
Пью вино архаизмов пьянящее внове,  
отдающее оцетом оцепенелой любви,  
воскрешением ран!

## Поэзия Тютчева как созвучное слияние с природой

Тютчев — поэт-мыслитель, таково установленное мнение о нем; определяя его так, как будто хотят сказать, что всю его поэзию пронизывает сознательное философское мировоззрение; основная же мысль этого мировоззрения состоит в том, что подлинным бытием обладает лишь природа, человек же является лишь «грёзой» ее, мимолетным проявлением (Брюсов). При таком понимании поэзия Тютчева превращается в поэтическое изложение философской системы, в то, что Гейне сказал о стихах Гёте: «Его стихи являются воплощением Спинозизма». Но в действительности в основе поэзии Тютчева лежит не сознательная мысль, а ощущение, которым проникнуто всё его творчество, стихийное, бессознательное; единством ощущения объясняется и единство мирозерцания. Мысль, что Тютчев выражал в своих стихах сознательно усвоенное им философское мировоззрение, противоречит его убеждениям уже хотя бы потому, что сам Тютчев, как известно, считал мысль бессильной и неспособной проникнуть в тайную жизнь природы.

Каково же было основное ощущение Тютчева? По нашему мнению, это — *музыкально-звуковое восприятие природы*, которым пропитана вся его поэзия и которое развивается в целое мирозерцание.

Природа ему представляется воплощенной музыкой; все звуки ее сливаются в стройную симфонию. Для того, чтобы так ощущать природу, поэт должен был обладать особой чуткостью к музыкально-звуковым проявлениям жизни, чуткостью, свойственной слепым, всё узнающим по звукам; и жизнь природы, и жизнь чувств проявляется в звуках; по изменению звуков природы они узнают смену дня и ночи, зимы и лета; по дрожанию голоса человека узнают его душевные переживания; их восприятие природы носит менее грубо-реальный характер, чем это свойственно зрячим. И действительно, мы видим, как у Тютчева состояние природы описывается по изменению звуков; например наступление вечера: «Как тихо веет над долиной далёкий колокольный звон, как шорох стаи журавлиной, и в шуме листьев замер он» (I, 24)\*.

Наступление вечера характеризуется тем, что вечерний звон тише дневного, и слышно его замирание в шуме листьев; мы видим, какие тонкие оттенки звуков воспринимает поэт. В полдень «едва

---

\* В статье цитаты из стихотворений Ф. И. Тютчева приводятся по двум изданиям: 1) Ф. И. Тютчев. Лирика. В двух томах. Изд-во «Наука», Москва, 1965. В этом случае в скобках после цитаты дается том и страница; 2) Полное собрание сочинений Ф. И. Тютчева. Санкт-Петербург, 1913. Цитаты из этого издания помечаются в скобках лишь страницей.

Обращаем внимание читателя, что в «Гранях» № 89-90 за 1973 г. была опубликована статья Р. Лэйна «Ф. И. Тютчев», посвященная воспоминаниям современников поэта о Тютчеве-человеке. — Р е д.

в трепещущих листьях перебирается прохлада, звонок несущегося стада почти замолк на высотах» (I, 230).

В сумерки «жизнь, движенье разрешалось в сумрак зыбкий, в дальний гул; мотылька полёт незримый слышен в воздухе ночном» (I, 75). Ночью поднимается «чудный еженочный гул» (I, 74), слышны ночные голоса. Весна узнается не только по шуму вод, но и по шуму листьев: «И слышно нам по их движенью, что в этих тысячах и тьмах не встретишь мертвого листа» (I, 134). Осенью бывает особенный «багряных листьев томный, лёгкий шелест» (I, 39), «из летних листьев разве сотый еще на ветке шелестит» (стр. 112). Наступление весны сопровождается характерным весенним шумом, так что сонная природа «сквозь редящего сна» (I, 83) весну прослышала по ее шуму.

Зимой всё замирает, лес околдован чародейкой-зимой и спит глубоким сном: «солнце зимнее ли мечет на него свой луч косою, в нем ничто не затрепещет» (I, 153), он остается безучастным ко всем этим проявлениям. Всё состояние природы сопровождается особыми звуками, соответствующими именно данному явлению. И воспоминания о чем-нибудь скорее всего вызываются звуками: «знакомый звук нам ветер принес: любви последнее прости» (I, 54); пение птички напоминает весну, когда она пела: «вдруг птичка в комнату влетит и жизнь и свет внесет с собой» (II, 157); и «эта грёза снилась мне, пока мне птичка ваша пела» (I, 190).

При таком восприятии природы стирается различие между внешним и внутренним; оно теряет смысл, так как поэт воспринимает природу только в звуках; как бы не видит и не осязает внешних предметов; нет внешнего мира, безучаст-

ного и холодного к нашей душевной жизни. Всё становится звуками. Но звуки трепетны, переливаются, движутся во времени; зримые предметы кажутся нам чуждыми, отделенными от нас; звуки же проникают внутрь, сливаются со внемлющей им душой, а душа расширяется и наполняется звуками. Между ними исчезает всякая отдаленность; душа и природа сливаются в одно — «всё во мне, и я во всём» (I, 75). Природа становится трепетной, подвижной, изменчивой, а душа — певучей, звучной и текучей. Дневные предметы точно, чётко и ярко отграничены друг от друга, звуки же слитны, смутны, говорят больше чувству, чем разуму, и потому таинственны. Природа обладает звучной душой, обладает и свободой, и душевными переживаниями, и языком, выражающим эти переживания.

Поэтому природа «не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык» (I, 81).

Язык же природы выражается в свисте бури, и в вое ветра, и в грохоте грома, и в пении валов, и в шорохе «звучных листьев». Высшим примером непонимания жизни природы служит глухонемой, для которого всё застыло в мертвом молчании. Голоса природы не вызывают в нем трепетного ответа, так как «увы, души в нем не встречается и голос матери самой» (там же).

Природа же внимает и говорит; так, «месяц слушал, волны пели... звезды в небе им внимали... и беседу продолжали тихомолком меж собой» (I, 68). Само молчание «чуткое», внемлющее; оно имеет свои оттенки, бывает и тише, и звучней — «утихло вокруг тебя молчанье» (I, 86). Тьма бывает то «чуткой», то «гремящей». И поэт особенно любит те явления природы, где она обнаруживает

в звуках свою скрытую жизнь, свой язык; то — гроза, буря, ветер. «Люблю грозу в начале мая» (I, 12).

Гроза — «дружеская беседа» (I, 81), а ночью душа жадно внимает любимой повести про хаос. Наоборот, зарницы — молнии без грома — поражают воображение поэта своей беззвучностью. Гроза — это *открытая* беседа, дружеская, зарница же — заговор, «таинственное дело» (I, 205), так как оно совершается безмолвно; «глухонемые демоны»\*, не умеющие говорить, «ведут беседу меж собой» (там же) знаками, так же, как глухонемые беседуют пальцами. Природа вся полна звуков, никогда не молчит, и чуткое ухо поэта ловит их, слышит в ее явлениях «язык их темный, но родной» (I, 222), и власть их беспредельна над душой поэта; она же отражает всю жизнь природы и звучит соответственно ей. Следствием живого ощущения звуков природы, вечной слиянности с ее жизнью оказалось возникновение у Тютчева настоящей веры в ее одушевленность, как это заметил В. Соловьев. Эта вера была потому такой крепкой, что явилась не результатом размышления над жизнью природы, а живым, конкретным ощущением ее языков. Жизнь природы слышнее ночью, чем днем. В чистом виде она днем не проявляется; тогда ее звуки заглушены житейским шумом, «наружным шумом» (I, 46), и образуют нестройный гул. Тютчев не любит поэтому дневного шума: «О, как пронзительны и дики, как ненавистны для меня сей шум, движенье, говор, крики молодого, пламенного дня» (I, 65). В шуме он не улавливает гармонии: «Еще шумел веселый день,

---

\* В некоторых цитатах автор меняет порядок слов сознательно, чтобы яснее передать мысль Тютчева. — Ред.

и доносились порой все звуки жизни благодатной, и всё в один сливалось строй, строй звучный, шумный и невнятный» (стр. 124).

Зато ночью, когда затихает деловая жизнь, замирают нестройные звуки дня, тогда просыпается жизнь природы, стройная и звучная. «День догорал, звучнее пела река в померкших берегах» (I, 56); «Над спящим градом, как в вершинах леса, проснулся чудный еженочный гул» (I, 74).

«Соседний ключ слышнее говорит» (там же). Оттого ему ночной хаос милее, чем звуки дня. Неправильно противопоставлять ночной хаос дню, как это делает В. Соловьев, а вслед за ним и Брюсов, и Айхенвальд, и Горнфельд и другие. Соловьев впервые высказал ту мысль, которая стала господствующей в понимании Тютчева: что в основе его поэзии лежит понятие хаоса.

«Хаос, то есть отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстающие против всего положительного и должного — вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания»\*.

Хаос, по Соловьеву, противопологается миру дневных проявлений. Ночной хаос в природе и в душе — вот что ближе всего Тютчеву. В природе его привлекают гроза, буря, смерть, а в человеческой душе — любовь, безумие, самоубийство. Дневной мир — лишь видимость; в основе как природы, так и человека лежит темное, жуткое, страшное «наследье родовое», «бездна», «хаос».

В действительности у Тютчева хаос противопоставляется не день, а гармония звуков. «Я в хаосе звуков летал оглушен» (I, 239). В другом месте

---

\* Вл. Соловьев. Поэзия Ф. И. Тютчева. 1895. Собрание соч., т. 7-8. Фототипическое изд., Брюссель, 1966, стр. 126.

говорится, что «гул непостижимый» (I, 74), поднимающийся ночью, происходит от того, что «смертных дум, освобожденных сном, мир бестелесный, слышный, но незримый теперь роится в хаосе ночном» (там же); наконец, о ночном ветре, поющем песни о хаосе, он говорит: «и ноешь, и взрываешь в нем порой неистовые звуки» (I, 241), «О, бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится» (I, 57). Отсюда видно, что хаос и в природе, и в душе состоит в конкретном ощущении, в нестройном гуле, в неистовых звуках, а не представляет собою отвлеченного понятия отрицательной беспредельности в смысле В. Соловьева. Ночью, когда замирает дневной шум, заглушающий жизнь стихий, просыпается грандиозная и величественная жизнь природы, разнообразная и таинственная, но по существу всегда гармоничная.

Слабый человеческий слух, пораженный всей этой богатой и звучной жизнью, бывает оглушен ею, ему иногда кажется, что жизнь природы — это хаос. Но природа в себе самой цельна, гармонична, начиная с дыхания зефира и шороха листьев и кончая грохотом бурь и воем ветра — «гармония в стихийных спорах», «созвучье полное в природе» (I, 199).

Кажущийся хаос есть на самом деле высшая гармония. Так как жизнь природы обнаруживается в звуках, то ясно, что земля, безмолвная и онемевшая твердь, не отражает так правильно жизнь природы, как вода. Вода — стихия певучая, текучая и мелодическая. Жидкость есть настоящее состояние предметов, лишь «всесильный хлад» (I, 58) скрепляет их живую массу в твердые застывшие тела. Воздух — также жидкость, «река воздушная полней течет» (I, 16); «воздух ласковой волной пышность ветхую лелеет»; «весенний теплый воз-

дух пить» (I, 73). Но если вода — мелодическая стихия, «волны поют», то воздух является носителем и воплощением звука. Воздух еще тоньше, еще чувствительнее, чем вода. Гамма его звуков бесконечно богата: от тончайшего зефира до грохота грома и воя бури. Воздух и вода образуют струи, по которым переливается жизнь природы; они как бы сосуды ее, по которым течёт тепло и холод: «И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ее коснулись ключевые воды» (I, 16). Так как жидкое состояние предметов освобождает их звучную жизнь, скрытую в твердом состоянии, поэтому «когда пробьет последний час природы» (I, 22), когда она вернется в первобытное состояние, тогда «состав частей разрушится земных, всё зримое опять покроют воды» (там же), «бегучие и певучие».

Воздушные и водные стихии, трепетные, струистые и чуткие, проявляют лучше жизнь природы, чем безмолвная земля. Они лучше выражают смену времен года и дня, чем земля. «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят, бегут и будят сонный брег» (I, 45), «еще земли печален вид, а воздух уж весной дышит, и мертвый в поле стебель колышет, и ёлей ветви шевелит» (I, 83). Вода будит сонный брег, а воздух колышет мертвый стебель; в них уже отразилась весна, в то время как всё земное еще погружено в глубокий сон.

Лёд, отделившийся от реки, показывает отрешение от родной стихии, разлад с нею; когда же весной воды воскреснут, тогда лёд «сольется с бездной роковой» (I, 130), вернется в свое естественное жидкое состояние. Твердое состояние образует только отдельный момент в жизни предметов, мимолетный и краткий, в жидком же виде предметы живут настоящей жизнью. Огонь —

самая тонкая жидкость, звучная и текучая. Это — эфир тончайший и чистый, более всех других стихий свободный от законов земной тяжести, «и в чистом пламенном эфире душе так радостно, легко» (стр. 131). Душа хочет быть звездой, горящей светлее в «эфире чистом и незримом» (I, 79).

Огонь расплавляет застывшую твердь и превращает ее в жидкую подвижную массу. Огонь — жидкий, струистый и трепетный: «струились капли огневые» (I, 64), «свет живительный я пью» (I, 111). Но свет также певуч. Представление о певучести света существовало давно, и вовсе оно не так странно, как кажется с первого взгляда. Пифагореисты, наблюдая движение звезд, говорили о гармонии сфер. Гёте говорит в «Фаусте»:

Die Sonne tönt nach alter Weise  
In Brudersphären Wettgesang,  
Und ihre vorgeschriebne Preise  
Vollendet sie mit Donnergang\*.

У Тютчева это представление выразилось в том, что звездный свет ему кажется тихим — звезды «беседу продолжали тихомолком» (I, 68), свет же солнца, яркий и блестящий, кажется громким и торжественным. Луч солнца «румяным громким восклицанием» (I, 87) будит спящую, «раздастся благовест всемирный победных солнечных лучей» (I, 202). Но свет солнца отличается от света звезд не только в том отношении, что он более шумный; он носит и качественно другой характер. Звезды — огненные, свет же солнца — дымный, темный. Днем звезды скрыты «дымом палящих лучей», (I, 79), «полдень мгlistый» (I, 25). И это представление, что солнце — темное светило, как оно

---

\* Перевод: «В хоре сфер, звуча как гром, золотое солнце неизменно течет предписанным путем».

ни кажется странным с первого взгляда, также очень древнего происхождения. В древнем Вавилоне солнце считалось темным телом, свет которого скрывает днем свет звезд и луны. Но дым представляется настолько отличным от огня, что образует особую стихию — «здесь дым один, как пятая стихия» (II, 308). «Ленивый, вялый, бесконечный дым» (там же) скрывает истинную сущность мира; оттого днем мы воспринимаем природу неправильно; мир представляется состоящим из отдельных, отграниченных друг от друга и от нас предметов. День — это «пышно-золотой» (I, 23), «златотканый» (I, 98) ковер, накинутый на «таинственный мир духов». Отношение ко дню поэта двойственное. Он представляется ему благодатным, так как скрывает тайну мира, дает нам «опору и предел» (I, 118). Но при более глубоком рассмотрении оказывается, что ясность дня — призрачная. На самом деле — день обманчив, в противоположность «святой ночи» (там же). Днем все стихии представлены в ложном свете; месяц светит «днем туманисто-бело» (I, 28), фонтан кажется «дымным облаком» (I, 123), и «дробится его на солнце влажный дым» (I, 78), небо также кажется дымным — «слился, как дым, небесный свод» (I, 34), «край неба дымно гас в лучах» (I, 56). Только в грозе проявляется настоящая природа. Голос грома властно заглушает все остальные голоса, а свет молнии прерывает дым солнечных лучей. «Небо молнией летучей опоясалось кругом» (I, 59). Вот почему поэт так любит грозу, в ней проявляется в неприкрытом виде жизнь природы. Итак, природа обладает и жизнью, и сознанием. Она грустит, смеется, радуется, хмурится; она меняется в зависимости от погоды и времени года. Зимой лес спит, околдованный «чародейкой-зимой» (I,

153), осенью он «грустит, оваян вещею дремотой» (I, 128), деревья, «погруженные в полдневный зной, бредят» (I, 171), «тревожно ропщут их вершины» (I, 140), весной «деревья радостно трепещут, поют деревья» (I, 152)\*. Розы «вздыхают», гвоздики «глядят лукаво» (I, 14), земля «хмурится», солнце смотрит «неохотно и несмело, исподлобья» (I, 106). Природа живет жизнью вполне подобной человеческой. Одно отличает ее жизнь от людской. Природа как целое не стареет, не умирает, над нею время не властно. Отдельные же ее проявления хотя и живут полною жизнью, — погружены целиком в настоящее, не знают страха и надежд на будущее или горечи и сожаления о прошлом: «Не о былом вздыхают розы и соловей в ночи поет, благоухающие слезы не о былом Аврора льет, и страх кончины неизбежной не свет с древа ни листа» (I, 97); но они смертны.

Осенью природа умирает с «кроткою улыбкой увяданья» (I, 39), а листья даже радостно стремятся к гибели, так как пора их прошла: «всё красное лето мы были в красе, играли с лучами, купались в росе; но птички отпели, цветы отцвели, луга побледнели, зефиры ушли; так что же нам даром висеть и желтеть, не лучше ль за ними и нам улететь, о, буйные ветры, скорее, скорей, скорей нас сорвите с докучных ветвей, сорвите, умчите, мы ждатель не хотим» (стр. 74). Сама же природа «знать

---

\* «Это выражение возбуждало недоумение критиков, но чуткий Фет разъяснил, что «деревья, должно быть, поют своими мелодическими весенними формами» (примеч. к соч. Тютчева). Но Фет неправильно перевел на свой язык — зримых форм — стих Тютчева. Тютчев, воспринимавший времена года по шуму листьев, чувствовал весною радостный лепет листьев, казавшийся ему пением. В другом месте он говорит о Ламартина: «Как мелодически шумели их ветви над его главой» (I, 113).

не знают о былом, ей чужды наши призрачные годы» (I, 225), она «светла, блаженно-равнодушна» (I, 96) к гибели своих детей, остается вечно юной и свежей, как в первый день создания. Наступающая весна «свежа, как первая весна» (там же), и «таинственно, как в первый день созданья, в бездонном небе звездный сонм горит» (I, 74). Природа в целом выше времени и смерти, но и отдельные проявления ее некоторым образом возвышаются над временем, так как живут только настоящим — «их жизнь, как океан безбрежный, вся в настоящем разлита» (там же).

Душа поэта соответствует природе. Для того, чтобы отразить богатую и звучную ее жизнь, душа сама должна быть такой же богатой и звучной.

Wäre das Auge nicht sonnenhaft, die Sonne könnt'es nie erblicken\*, говорит Гёте.

Поэтому все изменения в жизни природы отражаются подобными же изменениями в душе поэта. Поток душевной жизни не отличается от мирового потока; мелодия человеческой души та же, что и мелодия стихий. «Дума за думой, волна за волной, два проявленья стихии одной» (I, 137), ритм сердца и природы тот же самый, «тот же всё вечный прибой и отбой» (там же). Зимой погружена в сон вся природа, спит и душа поэта — «душа, душа, спала и ты» (I, 83). Весна бывает и в природе, и в душе; лучи солнца могут согреть или не согреть их одинаково: «Лучи к ним в душу не сходили, весна в груди их не цвела» (I, 82). Радость природы сообщается и душе: «и радость в душу пролилась, как отзыв торжества природы» (II, 28). Поэт, душа которого была особенно чутка

---

\* Перевод: «Не будь глаз солнцеподобным, никогда не мог бы он узреть солнца».

к жизни, — Гёте, сравнивается с листом «на древе человечества высоком» (I, 49), который «созвучней всех на нем... трепетал, пророчески беседовал с грозой» (там же).

Но как настоящая жизнь природы обнаруживается ночью, когда сброшен покров дня, так и настоящая жизнь души обнаруживается тогда, когда сброшены оковы разума и господствует инстинкт. В стихотворении «К Фету» Тютчев так определил свою поэзию: «Иным достался от природы инстинкт пророчески слепой, они им чуют, слышат воды и в темной глубине земной»; инстинкт глубже разума проникает в жизнь природы, слепота его пророческая и отличается чрезвычайной чуткостью, благодаря которой он ощущает движение подземных вод, скрытых для равнодушного взгляда. Благодаря своей чуткости, Тютчев глубже всех других поэтов погружался, выражаясь словами Вл. Соловьева, в «тёмный корень» бытия природы, ее истинную музыкально-звуковую основу, скажем мы. Там, где зрячий разум видит только безмолвную землю, инстинкт чувствует движение жизни, угадывает тайны природы, слышит живое биение ее пульса.

Но как в природе отличаются день и ночь, призрачное и истинное существование, так и в человеческой душе отличаются две стороны. Человек как личность мнит себя отделенным от всех других существ, враждебно противостоит природе и борется с нею. Это — призрачное, дневное существование человека, «сердце, полное тревоги» (I, 163), мятущееся житейскими страстями и заботами. Но в глубине души человека течет поток мировой жизни, общей ему со всей природой. Днем этот поток скрыт дневной жизнью с ее суетой, подавляющей человека, но ночью, когда этот груз забот сброшен с души, в ней просыпаются «ночные голо-

са». «Вещая душа» прислушивается к ночной повести земных предметов, внимает их языку и сливается с ними. В сумерки, когда вся природа покрывается ночными тенями и незаметно переходит к ночному существованию, — совершается разрыв индивидуальных рамок, переход души из личного существования в безличное. Хотя тоскующая душа томится в своих узах и страстно желает слиться со всей природой, — всё же этот переход в безличное состояние бывает болезненным и напоминает смертный час, «ту непонятную для нас истому смертного страданья» (I, 211). «Час тоски невыразимой» (I, 75), — восклицает поэт в сумерки; «о, страшных песен сих не пой» (I, 57), — обращается он к ночному ветру. Но в следующее же мгновение, после того как душа безболезненно освободилась от уз личного существования, она радостно сливается с миром: «Сумрак тихий, сумрак сонный, лейся в глубь моей души, тихий, томный, благовонный, всё залей и утиши, чувства мглой самозабвенья переполни через край, дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай» (I, 75). Как море только наружно волнуется, то смеется на солнце, то метется и бьется, но «в ночи своей лазурной» (I, 148) остается всегда ровным и хранит свою тайну, так и сердце человека бьется, мятется и полно тревоги, но вся эта тревожная жизнь не доходит до глубины души. «Вещая душа» непричастна дневной жизни, суете и шуму окружающего полуденного мира. «Душа моя — элизиум теней, ... ни замыслом години буйной сей, ни радостям, ни горю непричастных». В глубине души живут воспоминания, подобно тому, как «подо льдистою корой еще есть жизнь, еще есть ропот, и внятно слышится порой ключа таинственного шепот» (I, 58), воспоминания уходят в глубину души, но живут там скрытою жизнью, «как жизни ключ в душев-

ной глубине твой взор живет и будет жить во мне» (I, 11); забытые звуки оживают, подобно тому, как подземные ключи выходят на поверхность: «Я встретил вас, и всё бывшее в отжившем сердце ожило» (I, 223), «и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне» (I, 223). В старости, когда «не льется юности веселой, не блещет резвая струя» (I, 58), душа начинает ссыхаться — «нет дня, чтобы душа не ныла и сохла, сохла с каждым днем» (I, 206); это засыхание заключается в вымирании воспоминаний: «как ни тяжёл последний час, но для души еще страшней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья» (I, 211).

Призрачное существование человека сравнивается и со льдом, и с дымом. Настоящая сущность души сравнивается то с водой, то с огнём. Бурная душа поэта сравнивается с «палящим огнём».

Днем душа поэта покрыта дымом, как и всё в природе, «так грустно тлится жизнь моя и с каждым днем уходит дымом» (I, 471), поэт мучится этой однообразной дневной жизнью, дымной и тусклой: «о, небо, если бы хоть раз сей пламень развился по воле, и не томясь, не мучась доле я просиял бы и погас» (там же); подобно листьям, предпочитающим гостить на сучьях краткое время, но наслаждаться летней жизнью, поэт предпочитает пламенное горение медленному дымному тлению.

Ночью же душа сливается с проснувшейся природой и живет полной стихийной жизнью. Это слияние происходит во сне, когда в природе пробуждаются ее звуки, заглушенные дневным шумом, а в душе просыпается инстинкт, способный внимать им. Сон — ночь души; ночь — сон природы. Благодатный сон смывает всё «удушливоземное» (I, 183), «лечит дневные раны» (I, 126), душа сбрасывает с себя груз житейских забот и обновляется. Настоящая природа души обнаружива-

ется во сне, когда открываются ее глубины. «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами» (I, 29). Сознательное существование представляется маленьким островком среди безбрежного океана бессознательной жизни. «Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой» (там же), душа откликается на этот призыв, сбрасывает с себя застывший, твердый покров личной жизни, отрешается от своей замкнутости, впадает в беспмятство, забывая про свое отдельное существование.

Она освобождается, выходит на простор, разрывает узы «тесного сердца» и сливается с безбрежным морем. Во сне душе открываются тайны мироздания — «Музы девственную душу в пророческих тревожат боги снах» (I, 17); «сны играют на просторе под магической луной, и баюкает их море тихоструйною волной» (I, 110). Если в состоянии сна душа внимает мелодиям природы, то в сновидениях возникает ее творческий отклик на звуки природы. Душа созерцает сновидения, но не отделена от них, как это бывает при созерцании земных предметов, подчиненных законам земной тяжести. В «радужных снах» «мы видим: с голубого свода нездешним светом веет нам, другую видим мы природу, и без заката, без восходу другое солнце светит там... Всё лучше там, светлее, шире, так от земного далеко... Так разное с тем, что в нашем мире, и в чистом, пламенном эфире душе так радостно, легко». Сновиденья — это те образы, в которые души воплощают мелодии природы и человеческого голоса. Сон «чародей всесильный приязни давней, выраженья их для меня он уловил, и в музыкальные виденья знакомый голос воплотил» (II, 125). Во «Сне на море» мы видим, как над «хаосом звуков» (I, 51) носится сон «болезненно-яркий, волшебнo-немой, он веял легко над гремя-

щею тьмой» (там же). Сон есть источник поэтического творчества. Вся музыка природы и души воплощается в «музыкальные виденья» (там же): «Проснулись мы — конец виденью» (I, 181), но всё же «долго звук неуловимый звучит над нами в вышине» (там же). Поэт и пытается передать эти чудные видения и перевести их на язык «скучных песен земли». В поэзии Тютчева мы слышим вздох проснувшейся души, томящейся своим бессилием передать в соответствующих образах эти виденья. «Ты скажешь: ангельская лира грустит в пыли о небесах» (I, 9).

Если во сне совершается гармоническое слияние души с природой, то, в противоположность ему, бессонница представляется поэту болезненным, дисгармоническим состоянием. Хотя ночь и срывает покров дня, но человеческий инстинкт остается скрытым в душевной глубине, и человек противостоит ночи со своим беспомощным разумом.

Разум теряется, очутившись лицом к лицу «перед этой бездной темной» (I, 252). Сиротливая мысль, застигнутая ночью, в страхе трепещет перед ее загадочностью. Днем мир не страшен, но ночью, когда «упразднен ум и мысль осиротела» (I, 118), человеку становится страшно. Разум не находит точки опоры ни внутри себя, ни во внешней природе. «Нет извне опоры, ни предела» (там же), «в душе своей, как в бездне, погружен» (там же). Человек чувствует себя не только отрезанным от мира, но ему начинает казаться, что весь мир враждебен ему, что он хочет уничтожить его. Страшно становится тогда человеку. «Нам мнится, мир осиротельный неотразимый рок настиг, и мы в борьбе с природой целой покинуты на нас самих» (I, 18). Слабое, беспомощное человеческое я чувствует свое ничтожество рядом с природой, пред-

ставшей перед ним в неприкрытом виде. Но вместе с тем, оно чувствует, что, пугаясь природы, оно пугается и своих собственных глубин, потому что в чуждом, неразгаданном, ночном «узнает наследье родовое» (I, 118), родственное загадке человеческой души.

Обычно днем инстинкт скрывается и уступает свое место разуму, который чувствует себя привольно среди мира внешних, отграниченных друг от друга и от него самого предметов. Внешние предметы предоставляют разуму точку опоры. Инстинкт же, привыкший внимать звукам ночной природы и созерцать сонные грезы, теряется днем; его оглушает дневной шум и ослепляет дневной блеск. Наступил день яркий и шумный, скрылся тихий свет звезд, не слышны и биения подземных родников, «и с камней, блестящих на зное, в родную глубь спешат ручьи» (I, 20). И если инстинкт не успел спрятаться, уйти в глубину, то, застигнутый солнечным зноем, он становится беспомощным. Таково состояние безумия, когда вещей инстинкт оказывается среди враждебных ему стихий дыма и земли. «Там, где с землею обгорелой слился, как дым, небесный свод» (I, 34), инстинкт томится и ищет родственных стихий, хочет освежиться водой и воздухом. Но напрасно он «стеклянными очами» (там же), в которых выражается застывший разум, «чего-то ищет в облаках» (там же). Тогда инстинкт с отчаянием «воспрянет вдруг и, чутким ухом припав к растреснувшей земле, чему-то внемлет жадным слухом с довольством тайным на челе»; и действительно, чуткому уху с трудом удастся уловить скрытую жизнь природы и, хотя бы смутно, почуять биение подземных родников, несмотря на то, что вся природа застыла в дневном зное; безумие «мнит, что слышит струй кипенье, что слышит ток подземных вод и колыбельное их

пенье, и шумный из земли исход». И хотя днем в душе господствует разум, она томится в своем тесном заключении, ее «день — болезненный и страстный» (I, 163). Она стремится к ночному слиянию, пытается разорвать рамки личной жизни и слиться с мировым космосом. «Мир души ночной» (I, 57) рвется из «смертной груди... и с беспредельным жаждет слиться» (I, 241). Жажда слиться с беспредельным есть жажда смерти, жажда заснуть непробудным сном, уйти окончательно и бесповоротно от мира видимых явлений. Смерть — это тот же сон, но без пробуждения. Они «близнецы», «как брат с сестрою дивно сходны» (I, 147). Желание освободиться от пестрой смены жизненных забот и тревог вызывает жажду смерти. «Если смерть есть ночь, если жизнь есть день, ах, умаял он, пестрый день, меня, ко сну клонится голова моя» (I, 216). В смерти поэта привлекают полное и окончательное освобождение от личной жизни и растворение души в космосе, «бесследно всё, и так легко не быть» (I, 224).

В нашей земной жизни редко выпадают моменты полного слияния с космосом; «они — самозабвения земного благодать, шумят верхи древесные высоко надо мной, ...и сладко мне, и мир в моей груди, дремотою обвеян я, о время, погоди» (I, 160). В таком состоянии душа живет мгновением, забывает прошлое и самозабвенно сливается с окружающей природой. В противоположность этому спокойному самозабвению любовь есть бурное самозабвение, опьянение, насильственное погружение в сон. «Любовь есть сон» (I, 139), но сон не естественный, а наркотический. И в любви душа стремится разорвать свои оковы, слиться с другой душой в созвучном потоке, но в отличие от сна, где душа бескорыстно отдается мировому ритму, усваивает мелодию природы, отказываясь от сво-

его самоутверждения, она в любви хочет утвердить свой ритм, покорить себе другую душу. Оттого любовь — борьба, напоминает убийство, где одна личность уничтожает другую. То «поединок роковой» (I, 142), роковое слияние; любовь потому носит роковой характер, что здесь происходит слияние не с космосом, а с другой же личностью. Если в любви человек покоряет другого, то он совершает как бы убийство, уничтожает личность другого: «О как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей» (I, 131). Если же наоборот, в любви то сердце, что «нежнее в борьбе неравной двух сердец» (I, 142), добровольно отказывается от себя, тогда оно совершает самоубийство. Поэт говорит про возлюбленную: «душу всю свою она вдохнула, как всю себя перелила в меня» (I, 201). Поэтому любовь может быть или убийством, или самоубийством. И как сон и смерть являются близнецами, точно так же близнецы — «самоубийство и любовь» (I, 147), «союз их кровный, не случайный, даны им роковые дни» (I, 147). Но сон и смерть — естественное, безболезненное слияние с природой, самоубийство же и любовь — искусственное опьянение, они бывают «в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь», их «обаянья нет ужасней» (I, 147). Но трудно согласиться с Вл. Соловьевым, утверждающим, что

«...главное проявление душевной жизни человека, открывающее ее смысл, есть любовь, и тут опять наш поэт сильнее и яснее других отмечает ту самую демоническую и хаотическую основу, к которой он был чуток в явлениях внешней природы»\*.

Наоборот, в любви мы имеем высшее проявление призрачного существования человека, полага-

---

\* Вл. Соловьев, цит. соч., стр. 129.

ющего, что личное существование обладает реальностью. В любви весь центр сосредоточен в личной жизни; здесь личность или жертвует собой для другого, или покоряет себе другую личность, но в обоих случаях главный смысл сосредоточен в личности, своей или чужой. Оттого поэт предостерегает деву: «Не верь, не верь поэту, дева, страшись поэтовой любви», так как поэт «ненароком жизнь задушит» (I, 99). Тяжесть личного существования особенно ярко проявляется в любви; любовь и воспоминание о ней сильнее всего мешают слиянию с космосом. «Здесь сердце так бы всё забыло, забыло б муку всю свою, когда бы там, в родом краю, одной могилой меньше было» (I, 191). Здесь особенно резко сказывается противоречие блаженно-равнодушной природы со страстным человеческим сердцем. В такие моменты это равнодушие природы страшно поэту, поглощенному всецело воспоминаниями. «Ах, и над ним в действительности ясной, но без любви, без солнечных лучей, такой же мир, бездушный и бесстрастный, не знающий, не помнящий о ней» (I, 197).

Противоположность инстинкту составляет разум, соответствующий дню; разум мыслит понятиями, выражающимися в отдельных словах. Слово обозначает точно отграниченный предмет и отдельное состояние души; но оно не передает звуковой жизни природы и таинственной музыки души, оно не способно передать трепет и биение жизни как в человеческой душе, так и в природе. Оно годится для внешнего сообщения людей, но «сердцу высказать себя» (I, 46) невозможно словом, так как «мысль изреченная есть ложь» (I, 46). Душа цельна и слитна; выражая же ее жизнь в отдельных словах, «взрывая, возмутишь ключи» (I, 46). Нужно жить в самом себе, внимать пению «таинственно-волшебных дум» (I, 46), не пытаясь вопло-

тить их в словах, не нарушая вмешательством разума свежести инстинктивной жизни. «Silentium» — поэтический завет Тютчева. Настоящий язык человека, выражающий его душу, — это его голос. Как все явления природы выражают свою жизнь в звуках, так жизнь человека проявляется в его голосе, в пении. Но как человек является высшим звеном в цепи природы, так и голос его является самым гармоническим из всех голосов природы. В человеческом голосе природа приобретает настоящий язык, высказывается с полной свободой. «Так гармонических орудий власть беспредельна над душой, и любят все живые люди язык их темный, но родной. В них что-то стонет, что-то бьется, как в узах заключенный дух, на волю просится и рвется и хочет высказаться вслух» (I, 222). Вся природа хочет высказаться вслух, пытается это сделать, но в полной мере ей это удастся лишь в человеческом голосе. «Не то совсем при вашем пенье, ...из тяжкой вырвавшись юдоли и все оковы разреша, на всей своей ликует воле освобожденная душа, и мы не звуки, душу живу, в них вашу душу слышим мы» (там же). В свободно льющемся человеческом голосе душа высказывается с полной свободой, в словах же проявляются лишь отдельные моменты человеческой жизни. Голос неизменен, передает вечную истинную сущность души, а речь передает лишь зыбь души, подобно тому, как море волнуется лишь на поверхности, но остается неизменным в своих глубинах. Поэтому в голосе человек приобщается к «певучести морских волн» (I, 199); в словах же человек противопоставляет себя природе и отрывается от нее. Так как сущность души и природы одинаковая, то между ними возможно взаимодействие. Душа может проникнуться строем природы, почувствовать близость другой души, отражающейся в природе: «волшеб-

ную близость, как бы благодать, разлитую в воздухе, чувствую я» (I, 14). Душа может заставить природу откликнуться и зазвучать трепетным ответом: так «естество всегда готово откликнуться на голос родственный его» (I, 102). Но человеческая душа может и смутить природу, заразить ее своей беспокойной и мятежной жизнью. Так блаженный сон итальянской виллы был разбужен мятежным жаром людей, нарушивших ее покой. «Вдруг всё смутилось, судорожный трепет по ветвям кипарисным пробежал... та жизнь, увы, что в нас тогда текла, та злая жизнь с ее мятежным жаром через порог заветный перешла» (I, 90), перелилась через край и смутила сон виллы.

Обычная жизнь, которую ведут люди, дневная и разумная, является призрачной. Она напоминает даже «не светлый дым, блестящий при луне» (I, 114), но лишь «тень бегущего от дыма» (I, 114), она исчезает «как облак дыма на небе тусклом и туманном в осенней беспредельной мгле» (I, 115). Туман окутывает природу, туман окутывает и чувства. Человек мнит, что составляет нечто совершенно отдельное от всей природы, не подчиненное ее законам и способное жить самостоятельной жизнью, не покоряясь строю природы. От этого заблуждения возникает разлад человека с природой; он полагает, что обладает свободой, в отличие от явлений природы, и отрешенным от всего мира «я». Но эта иллюзия, будто он обладает свободой, подвергает его несчастьям. Он не может примириться с теми необходимыми законами, которым добровольно покоряются явления природы. Его кратковременность, то, что «всё проходит, за годом год, за веком век» (I,70), приводит его в возмущение, и «негодует человек, сей злак земной» (I, 70). В отличие от явлений природы, отдающихся полноте настоящего мгновения, человек томится

воспоминаниями, «с тоскою мыслит о былом» (I, 70). Листья вянут и желтеют, падают и умирают кротко и радостно, человек же не может примириться с тем, что «он быстро, быстро вянет» (I, 70). Этот ропот человека вносит разлад в природу, тревожит ее «невозмутимый строй» (I, 199) и врывается диссонансом в «стройный мусикийский шорох» (I, 199), «в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник» (I, 199). Мелодия души, полной воспоминаниями о прошлом, не гармонирует с мелодией природных явлений, полных настоящим. Но душа, вспоминая прошлое, сознает себя отделенной от другой души; человек полагает, будто он обладает особым «я». Это сознание своей обособленности мешает ему безболезненно раствориться в природе и составляет несчастье человеческой жизни. Человек отрывается от источников жизни, ропщет и негодует, тоскует и тревожится. Он не живет полной жизнью и умирает с ропотом на устах.

Несчастья человека проистекают из его заблуждений. В истине — добро и счастье. Назначение человека в том, чтобы, почувствовав свое тождество с природой, вернуться в ее лоно, отдаться непосредственному ощущению бытия, «потопить свою душу» (I, 195) в волнах моря, стать «верным сыном» (I, 73) матери-земли. Как лед, тая, возвращается во «всеобъемлющее море» (I, 130), так человек, отрешаясь от своей личной жизни, возвращается к источникам мировой жизни. Тогда его голос не будет звучать диссонансом, а, наоборот, явится прекрасным завершением звуков природы; звуки души и звуки природы составят стройную симфонию. Идеал Тютчева выражен в следующих стихах: «Игра и жертва жизни частной, приди ж, отвергни чувств обман, и ринься бодрый, самовластный в сей животворный океан. Приди, струей

его эфирной омой страдальческую грудь и жизни божески-всемирной хотя на миг причастен будь» (I, 96).

Таков идеал Тютчева. Но где он видел его воплощение? Западноевропейская жизнь, где личность мнит себя свободной и где так сильно проявляется человеческое «я» со своими требованиями и запросами, не могла удовлетворить его. Во всех проявлениях западноевропейской жизни видно роковое влияние этого сознания личности. Оно лежит в основе германской философии, «разрушительной философии», порождение «высокомерия ума»; это же сознание «Я» есть главная вдохновляющая идея революции:

«...самовластие человеческого «Я», желающего зависеть лишь от самого себя, не принимающего и не признающего другого закона, кроме собственного изволения, возведенного в политическое и общественное право, и стремящееся в силу этого завладеть обществом... получило в 1789 году название французской революции»\*.

Нового в революции было лишь наделение этого «я» политическими и общественными правами; но эта идея лежит в основе и религиозной жизни Западной Европы, где, казалось бы, должно проявиться смирение человека и сознание своего бессилия. Идеал человеческого «я» лежит в основе и лютеранства и католичества:

«Рим, конечно, поступил не так, как протестантство: он не упразднил христианского средоточия, которое есть Церковь, в пользу человеческого, личного «Я»; но зато он проглотил его в римском «Я»\*\*.

Революция, являющаяся апофеозом того же самого человеческого «я», достигшего своего пол-

\* Ф. И. Тютчев. Статья «Россия и революция», стр. 296, 1913 г. издания.

\*\* Ф. И. Тютчев. Статья «Папство и римский вопрос», стр. 311, 1913 г. издания.

нейшего расцвета, не замедлила признать своими и приветствовать в качестве двух своих славных учителей и Григория VII, и Лютера. В ней заговорил голос крови. Очевидное сходство, соединяющее три члена этого ряда, составляет основу исторической жизни Запада. Душу революции составляет учение о верховной власти народа. «А что такое верховная власть народа, как не верховенство человеческого «я», помноженного на огромное число, т. е. опирающегося на силу»\*. Наконец, и «иезуиты — это люди, одержимые человеческим «я», не как отдельные личности, а как целый орден»\*\*; корень этого заблуждения лежит в первородной испорченности человека. Это заблуждение и у него, и у римской церкви — общее, и благодаря этой общности иезуитский орден является сосредоточенным, но буквально верным выражением римского католичества; «проще сказать, он есть само католичество, но только в состоянии действия, в положении воинствующем» («Папство и римский вопрос»)\*\*\*. Таким образом, мы видим, как в самых разнообразных проявлениях западноевропейской жизни лежит идея человеческого «я», она составляет основу и революции, и протестантизма, и католичества, и иезуитского ордена, и германской философии.

Но Западной Европе противостоит Россия. В русском народе проявляются как раз противоположные черты; его характерной чертой является долготерпение, смирение, покорность судьбе, отказ от своего человеческого «я», слияние со стихийной жизнью природы. Эти черты выражены Л. Толстым в его военных рассказах и воплощены в образе Платона Каратаева. Тютчева пленяют те

---

\* Там же, стр. 313.

\*\* Там же, стр. 317.

\*\*\* Там же.

же черты: «Край родной долготерпенья, край ты русского народа. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной» (I, 161). Смиренную наготу русского народа поэт противопоставляет гордому взору иноплеменному и находит в первом высшую красоту. Но и самодержавие не представляет собой воплощения человеческого «я», как это кажется с первого взгляда.

В противоположность деспотизму Наполеона III, русское самодержавие крепко; «Лишь там, лишь в той семье народной, где с властью высшею живая связь слышна и где она закреплена взаимной верою и совестью свободной, где святы все ее условия и ею весь народ одушевлен — о, тут измене места нет». При такой живой связи царь не отделяется от народа в качестве отдельного «Я», а слит с ним вместе. Но пророчески верным оказывается следующее восклицание по поводу выстрела Каракозова в императора Александра II: «Мысль неотступная невольно сердце гложет: всё этим выстрелом, всё в нас оскорблено, и оскорблению как будто нет исхода, легло, увы, легло позорное пятно на всю историю российского народа» (II, 173). Этот выстрел явился знаком разрыва народа с царем и тем самым лишил самодержавие его живой связи с народом.

Между политическими и философскими взглядами поэта нет противоречия. Они находятся в полной гармонии между собой. Стремление Тютчева к русскому народу объясняется тем, что в нем он видел воплощение своего поэтического идеала. Живя вдали от родины, не зная русского народа, выражая свои мысли лучше по-французски, чем по-русски, он тем живее чувствовал красоту русского народа. Славянофильство Тютчева не было следствием благоговения перед церковными и ис-

торическими памятниками русской старины, как у остальных славянофилов; он не исходил от народа, но пришел к народу. Не идеал, выставленный русским народом, послужил ему исходной точкой, чтобы построить на нем определенное мирозерцание, а наоборот, в русском народе он видел воплощение своего идеала и завершение своего мирозерцания. Славянофильство было завершающим моментом его поэтического мирозерцания, и только в связи с ним оно становится понятным.

Противоречию между жизнью русской и западноевропейской соответствует и противоречие между русским и французским языками. Французский язык служит для выражения мыслей и понятий, русский же язык — «отголосок вод родных». Известно, что Тютчев почти не говорил на русском языке; русский и французский языки как бы жили отдельной жизнью, и когда поэт был поражен параличом, он потерял способность говорить на одном из этих языков.

В поэтических произведениях форма и содержание тесно связаны между собой и образуют одно неразрывное целое. Следовательно, звуковое восприятие природы Тютчевым должно было отразиться как на содержании его произведений, так и на форме, способе выражения. Особенно выпукло выступают некоторые характерные черты тютчевской формы при сравнении его с Пушкиным, воспринимавшим мир совсем отлично, не похоже на Тютчева. Пушкин обладал чрезвычайно зорким глазом, чувством пластичности, вещи кажутся ему точно очерченными, глаз наслаждается формами вещей, природа ему «сияет вечною красотой», неизменною красотой; оттого его определения так точны, объективны, передают неизменную форму, качество предметов и выражаются прилагательны-

ми, характеризующими постоянное свойство предметов. У Тютчева же всё смутно, изменчиво, субъективно, передает мгновенное, изменчивое в природе и выражается наречием, служащим для передачи временного состояния предметов. Отличием восприятия природы объясняется то, что у Пушкина весна наступает тогда, когда «гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями», т. е. когда глаз заметил таяние снега; у Тютчева же она наступает раньше, когда «еще в полях белеет снег» (I, 458), но чуткое ухо поэта уже уловило весенний шум вод. Пушкин, поэт зримых форм, любит больше всего осень, самое яркое время года, «пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса»; Тютчев же любит больше всего весну, самое шумное время года, когда пробуждаются воды и природа просыпается от зимнего сна.

Чуткостью Тютчева объясняется частое употребление эпитетов: немые, глухие и глухонемые, т. е. определение предметов по способности их звучать или внимать звукам: «немые дубравы», «звук немеет» (I, 58), «ночь нема» (I, 81), «нега онеменья» (I, 177), «шепчет в сумраке немом» (I, 171), «немое умиление», «глухие времени стеланья» (I, 18), «огонь сокрытый и глухой», наконец: «немые, глухие гроба» (I, 129), «демоны глухонемые» (I, 205); сюда же относится «молчаливее ложится тень» (I, 24). Жидкою природой света и воздуха объясняются следующие обороты: «лился мрак ночной» (I, 86), «омытых в солнечных лучах», «льется лазурь» (I, 170), «ночной омытая грозой» (I, 19); солнечный луч порхнул «тихоструйно, тиховойно» (I, 86). Взглядом его на дневной свет как на дымный (и вообще на всю природу днем как на окутанную дымом) объясняются такие определения, как «под дымчатым навесом тучи» (I, 178),

«задымилася гора» (I, 20) и характеристиками солнечного луча: «дымно-легко, мглисто-лилейно» (I, 86).

Из веры Тютчева в одушевленность природы вытекает то, что она определяется как живая, полная человеческих чувств; из сознания единства души человека с природой — обратное определение душевных движений образами природы. Примеры первых: «солнце дышит» (I, 81), «леса говорят» (I, 81), «лазурь смеется» (I, 19), «бледные березы, как лихорадочные грезы, смущают мертвенный покой» (I, 31); примеры вторых: «алели щеки, как заря» (I, 42), «как солнце золотое, любви признание молодое», «струилось дыханье» (I, 86).

Стих Тютчева очень музыкален; передавая голоса природы, он становится звукоподражательным. Во «Сне на море» почти в каждом слове буква «л», в соединении же с «р» она передает хаос звуков, дробный грохот валов; в «Весенней грозе» звук «гр» передает рокотание грома; в «Сумерках» преобладают «с» и «з», передающие тихое вливание сумерек в душу, ее слияние с «дремлющим миром» (I, 75). В «Слезях людских» слышится звук осенних капель, падающих медленно и равномерно (известно, что это стихотворение сочинено поэтом на извозчике, под проливным осенним дождем). В «Листьях» отражается стремительное падение и кружение падающих листьев.

Язык Тютчева, при всей своей образности, не богат; у него часто повторяются те же самые образы и слова; как будто душевное переживание, богатое и гибкое, не находя соответствующих слов, принуждено было вливаться в то же русло, отличаться в те же слова. Это объясняется его отчужденностью от родины и привычкой мыслить по-

## ПОЭЗИЯ ТЮТЧЕВА

французски. Что это ощущалось поэтом болезненно, доказывает его изречение: «мысль изреченная есть ложь» (I, 46).

1913 г.

Д. Пospelовский

# Вольные мысли о сборнике «Из-под глыб»

Сборник «Вехи» — это документ той части революционной интеллигенции, которая сумела освободиться от «нигилистическо-интеллигентской традиции». Оклеветанный и оплеванный в свое время либеральными братьями-интеллигентами, он вновь воскресает и вдохновляет сегодня процесс возрождения российской общественной мысли.

Сборник «Из-под глыб» — это своего рода манифест той части российской общественности, которая глубже всего осознала и восприняла мысли и традиции «Вех», творчески переосмыслила их на фоне собственного, всероссийского, и мирового опыта последних шестидесяти лет. Поэтому особенно интересно анализировать этот сборник в тесном сопоставлении и сравнении с «Вехами».

Говоря о сборниках «Вехи» и «Из-под глыб», нельзя забывать и третьего очень важного сборника в этом же ключе — «Из глубины», несмотря на то, что ни один из авторов сборника «Из-под глыб» не ссылается на этот замечательный коллективный труд 1918 г. Если «Вехи» были созданы после «малого» опыта революции 1905 г. и носили характер некоего пророческого предвидения катастрофы, то сборник «Из глубины» был уже первой

критической оценкой в идейном свете «Вех» только что происшедших событий 1917 г., свершившегося пророчества тех же «Вех».

Общее у трех сборников — это обращение к нации и ее почве (духовным, культурным и историческим корням) и утверждение, что созидательный процесс может строиться только на этих началах, а не на основании выхватываемых извне — из чужих почв и традиций — абстрактных идей и искусственном их «пришпиливании» к российской действительности. Из-за этого может произойти только катастрофа, — предупреждали «Вехи»<sup>1</sup>. Из-за этого только что произошла колоссальная катастрофа, и Россия погибла, убитая нигилизмом, исторической безответственностью, беспочвенностью русской либеральной и социалистической интеллигенции, — утверждали потрясенные только что пережитым авторы сборника «Из глубины»<sup>2</sup>; и выражали лишь несмелую надежду, что Россия еще воскреснет:

«...если Божья кара поразила нас не для того, чтобы погубить, а для того, чтобы исправить, то в нашем церковно-религиозном и национально-государственном сознании необходимо должно созреть это (почвенное. — Д. П.) оздоровляющее умонастроение. Тогда с пути хаоса, смерти и разрушения мы сдвинемся на путь творчества, положительного развития и самоутверждения жизни» (С. Франк, „De profundis“, стр. 330).

Сборник «Из-под глыб»<sup>3</sup> уже самим фактом появления и сутью своих статей не только подтверждает верность видения «Вех» и трагизм апокалипсического опыта авторов статей «Из глубины», увеличенного в десятки раз в дальнейшие годы существования советской власти, но еще расширяет и углубляет свой опыт состоянием всемирного современного духовного и общественного кризиса, в котором Россия оказалась лишь первенцем,

но отнюдь не исключительным явлением, как это казалось авторам первых двух сборников. Появление сборника «Из-под глыб» свидетельствует, что мрачные предвидения гибели России не оправдались и вышеприведенное заключение С. Л. Франка оказалось верным в своей надежде. «Из-под глыб» — документ нового русского духовного возрождения, как и «Вехи» в свое время были манифестом духовного возрождения определенной части интеллигенции.

Важно детально проанализировать основные точки соприкосновения, преемственности и различий между этими сборниками, т. к. по ним можно наметить и важный отрезок эволюции российского мышления (или части его), а также меняющийся исторический опыт, ведущий и к более глубокому познанию своего народа и исторического пути России. Возьмем отдельные ключевые темы из всех трех сборников и сравним подходы к тем или иным проблемам.

Остановимся на темах, которые «кочуют» по всем трем сборникам. Это: культура и история; нигилизм-атеизм; интеллигенция; профессионализм; революция и социализм; ответственность: перед нацией-народом, историей, самим собой... А в основе всего — Бог и человек как Его творение, неповторимое и поэтому «обрученное» свободе, не подлежащее насилью во имя каких-либо внешних социально-политических целей.

## 1. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Это — самый «проклятый» вопрос всех трех сборников, ибо анализ понятия интеллигенции для П. Струве, Бердяева, Булгакова, Солженицына — прежде всего самоанализ, т. е. то самопознание, которому учил еще Сократ и которое, как извест-

но, дается труднее всего. К нему тесно примыкает покаяние.

Прочитав все три сборника, остаешься при мысли, что четкого и точного определения понятия интеллигенции у нас не выработано. На это же сетует и Солженицын в своей статье «Образованщина». Он указывает на определения Г. Федотова и В. Даля:

- 1) «специфическая группа, объединяемая идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей»;
- 2) «образованная, умственно развитая часть жителей» («Из-под глыб», стр. 222).

К ним добавим из статьи С. Л. Франка «Этика нигилизма»:

Интеллигент — это *«воинствующий монах нигилистической религии земного благополучия. ... из своего монастыря он хочет править миром и насадить в нем свою веру; он ... монах-революционер»* («Вехи», стр. 204).

Очевидно, С. Л. Франк считал это определение крайне важным, выделив его в тексте. Определение Гершензона в статье «Творческое самосознание» еще злее и сокрушительнее:

Русская интеллигенция — это сонмище больных, изолированное в родной стране... («Вехи», стр. 87). Русский интеллигент — это ... человек, с юных лет живущий *вне себя...*, т. е. признающий единственно-достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его личности — народ, общество, государство» (там же, стр. 70).

Официальное советское определение интеллигента как каждого человека, занимающегося умственным трудом (а в него включаются и все канцелярские работники), — явно несовместимо с приведенными выше понятиями (кроме далевского, и то отчасти). Интересно, что первые же работы Самиздата, трактующие проблемы культуры, общества, интеллигенции, русской истории, духовной

жизни, начали отмежёвываться от официального советского понятия интеллигенции и стали возвращаться к традиционно-дореволюционному<sup>4</sup>. Самиздат пятидесятых и шестидесятых годов (правда, этот термин еще не существовал в 50-х годах) был как бы замкнут в самом себе, т. е. в той интеллигентско-оппозиционной среде, где он родился. В нем отсутствует критика интеллигенции. Вопросы культуры и ее почти полного уничтожения советской властью волнуют авторов. Культура и ее творцы отождествляется с интеллигенцией, а ее гонители — с темными массами, всплывшими наверх в результате революции и захватившими власть (см., например, Г. Померанц, «Нравственный облик исторической личности» в книге «Неопубликованное»). Как верно указывает К. Житников в статье «Закат демократического движения» («Вестник РСХД» № 106, 1972), для этой самососредоточенности характерно, что в работах Демократического движения почти не затрагиваются вопросы землеустройства, коллективизации, крестьянский вопрос на современном этапе и в будущем, фабрично-заводское законодательство, совсем мало — проблема религиозных гонений. А именно эти вопросы, как и вопросы элементарного материального благополучия, интересуют народ и могли бы привлечь его к оппозиционной интеллигенции. Дело в том, что до оккупации Чехословакии значительные слои интеллигенции лелеяли надежды на эволюцию власти, если она начнет сотрудничать с лояльно-оппозиционной интеллигенцией в лице своих наиболее авторитетных представителей, таких, как А. Д. Сахаров, Эрнст Генри, Рой Медведев, будет ей подсказывать, — что и как делать.

Одновременно существовали и революционные кружки пятидесятых годов, стремившиеся к перевороту. Но идейно они обещали немного, т. к. в основном были марксистско-ленинскими, считавшими, например, что достаточно свергнуть Хрущева, чтобы установился подлинно ленинский строй и все были бы счастливы. Кроме их идейно-политической наивности, кружки эти отличались краткосрочностью существования: их членов неизбежно арестовывали и приговаривали к длительным лагерным срокам. Судьба этих кружков доказывала нереальность революционно-насильственного пути в условиях советского тоталитаризма. Их опыт можно условно сравнить с опытом декабристского восстания 1825 г., который определил тридцатые и сороковые годы XIX века как годы кружковщины: в изоляции от «темного» народа интеллектуалы всех толков развивали «чистые идеи» и, как правило, надеялись на эволюцию власти в союзе с духовно-политической элитой страны.

В ту эпоху толчком к повороту была реакция семидесятых годов (после Великих реформ и их незавершенности). Теперь же поворотными пунктами оказались: сначала осознание бесперспективности «хрущевизма», а затем — провал идеи «социализма с человеческим лицом». Конечно, параллели здесь проводятся условные, а сроки в нашу эпоху так сжаты, что зачастую трудно заметить эти параллели: если процесс развития мысли от кружковщины к нигилистическо-радикальной интеллигентщине, а от нее — через «научно-социалистический» марксизм и разочарование в нем — к идеям «Вех» и «Из глубины» занял более восьмидесяти лет, то теперь процесс пробуждения общественной мысли с рождением сборника «Из-

под глыб»\* занял менее двадцати, с очень тесным и запутанным переплетением всех перечисленных и наново повторенных этапов.

И вот в конце шестидесятых годов нашего века появляются два взаимопереплетающихся процесса мысли, которые, с одной стороны, как бы повторяют позднее народничество восьмидесятых — девяностых годов, а с другой, — темы и идеи «Вех».

Новое в этом процессе то, что между «неонародниками» и «невеховцами» не замечается острого размежевания (оно идет по другому пути), и зачастую одни и те же лица могут причислять себя к обоим направлениям. Народничество нынешних оппозиционеров проявляется в том, что они начинают наконец, понимать, особенно после чехословацких событий, что изолированной от народа кучке интеллигенции коренных изменений добиться невозможно, следовательно, надо включать в свою борьбу темы, которыми болеет народ.

Отсюда — московские листовки 1972 г. «Гражданского комитета» с призывом к рабочим начать забастовки по примеру польских рабочих. Отсюда же — работа К. Вольного об интеллигенции, где говорится о необходимости ее слияния с народом через Церковь, о верующем интеллигенте-демократе, могущем стать мостом между Демократическим движением и теми верующими, которые кровно заинтересованы в борьбе за свободу своих вероисповеданий и за сохранение своих храмов.

---

\* Конечно, далеко не все оппозиционеры согласны с идейными позициями и умонастроениями авторов этого сборника. Теперь должны были бы появиться аналогичные сборники западников-либералов, а быть может, и марксистов. Но тон, уровень разговора уже заданы Солженицыным и Шафаревичем.

В то же время у «неонародников»<sup>5</sup> не ощущается романтической идеализации народа, которая до революции была у всех, за исключением ленинцев-большевиков, крайне правых группировок и реакционно-скептически настроенных бюрократов. Демагогически пользоваться именем народа для своих целей все они были готовы и занимались этим, но иллюзий у них не было. У «веховцев» тоже не было иллюзий, но они понимали, что страна, в которой политически самая активная часть общества (интеллигенция) не только интеллектуально, духовно и эмоционально оторвана от народа, его культуры, его Церкви и истории, но и пренебрегает ими, обречена на катастрофу (что и произошло в феврале 1917 года, когда власть в стране попала в руки интеллигенции). В этом и была суть обращения авторов «Вех» к интеллигентам-политикам, которое большинством из них, во главе с Милюковым, так трагически было отвергнуто. Нет никаких иллюзий и у большинства авторов сборника «Из-под глыб», и суть их обращения к русской и мировой интеллигенции нашей эпохи — в большом плане — аналогична «веховскому».

Но вернемся к определениям понятия интеллигенция и рассмотрим вопрос, в какой степени оно действительно для современной возрождающейся русской интеллигенции. Солженицын принимает определения интеллигенции в «Вехах», но отрицательные черты дореволюционной интеллигенции, отмеченные в «Вехах», считает «достоинствами предреволюционной интеллигенции» («Из-под глыб», стр. 219-220), если подходить к ней с мерками советско-русской интеллигенции в широком смысле, для которой Солженицын изобретает нелестный термин — «образованщина».

А действительно, чем плоха жизнь, направленная на служение «народу, обществу, государству» («Вехи», стр. 70), за что Гершензон осуждает интеллигенцию? Солженицын и это готов признать за достоинства в современном контексте, т. к. видит в таком служении альтруизм дореволюционной интеллигенции, уверенность в том, что иного пути нет, кроме разрушения существующих форм. В современном же интеллигенте-«образованце» Солженицын наблюдает иное: эгоизм и трусость, карьеризм и стремление к мещанскому благополучию, готовность жить трехслойным сознанием: одна ложь на собраниях, другая — на работе и, в лучшем случае, правда — лишь в семье, а еще хуже — только в мыслях, или в кармане («Изпод глыб», стр. 239).

Солженицын отлично понимает, что когда «веховцы» критикуют интеллигенцию за ее чрезмерную направленность на служение «народу, обществу, государству», они осуждают ее за то, что она не оставляет себе времени для собственного профессионального, интеллектуального, духовного роста (там же, стр. 220-221). У А. С. Изгоева на эту тему есть прекрасная статья в «Вехах» («Об интеллигентской молодежи») о тех катастрофических нравственных последствиях для интеллигенции и страны, которые несет подобная направленность с юных лет. Подлинное образование, говорит он, презирается. Гимназисты уже, а студенты и подавно, добиваются проходных баллов при помощи шпаргалок, конспектов-справочников, социально-политического единомыслия с прогрессивными педагогами и истерик во время экзаменов. В результате создаются кадры полуобразованных юристов, знающих своды законов, но совсем не вникающих в суть правового устройства и не до-

рожащих этим; или педагогов, нахватавшихся всего понемногу, вместо подлинных знаний. Такие поверхностные знания и привычка удовлетворяться ими, а не изучением и анализом теорий и понятий, обрекают русскую интеллигенцию на любительщину, безответственность, легкость восприятия идей и учений и смены их (стр. 106-107). Это же способствует развитию нигилизма, отрицанию абсолютных истин, внеопытных ценностей, на которых зиждутся культура и религия. Отсюда — вера в человеческую науку (вместо подлинного приобщения к научности), в то, что, однажды разрушив накопленное, человек может создать из руин все новое и гораздо лучшее... Коротко говоря, полуобразование российских интеллигентов подводило их к принятию относительной шкалы ценностей, отрицанию абсолютных нравственных понятий — Истины и ее Источника (см. статьи С. Л. Франка «Этика нигилизма» и Б. А. Кистяковского «В защиту права» в «Вехах»).

Вот тут Солженицын, вместе с «веховцами», и видит основной корень зла дореволюционной интеллигенции, «родство» между нею (преемственность) и советской интеллигенцией-«образованщиной». Современные «образованцы» вполне сознают свою отчужденность от народа и, как правило, не тяготеют этим, — утверждает Солженицын. Он критикует Померанца и группу авторов самиздатовских статей об интеллигенции в «Вестнике РСХД» № 97, говорящих о долге народа перед интеллигенцией и осуждающих народ за жестокость и зверства во время революции. Солженицын напоминает, что все эти «прелести» были результатом нигилистических уроков, данных народу самой интеллигенцией («Раскаяние и само-

ограничение», стр. 130-136; «Образованщина», стр. 228 и дальше. «Из-под глыб»).

Надо сказать, что в этих упреках интеллигенции Солженицын не одинок, и он не первый среди современных свободных мыслителей России. Два наиболее ярких предшественника Солженицына, идущие в фарватере «веховской» критики русской интеллигенции, — это Н. Мандельштам, которую Солженицын не упоминает, и О. Алтаев, с которым он резко полемизирует, но с чьей критикой интеллигенции в общих чертах соглашается.

Оба эти автора видят прямой логический путь от утопически-абстрактного обожествления народа и революции (как проявления народного стихийного возмездия, которое-де даст свободу и приведет к народоправству, т. е. демократии) к служению сильной власти Сталина-Ленина. Иначе говоря, эта логическая схема выглядит так: интеллигент преклоняется перед народом и любимым его самопроявлением; чтобы расшевелить его, он через школу, где работает сельским учителем<sup>6</sup>, через печать, которая становится доступной всё большим пластам грамотного народа, через фабрики и заводы, где радикальный интеллигент выступает в разных ролях, — подрывает в народе традиционную веру в Бога, в вековой порядок, подсовывая взамен оправдание бунта, «красного петуха», насилия, грабежа награбленного и т. п. Взамен разрушаемых ценностей он народу дать ничего не может, ибо у него самого ни положительных ценностей, ни глубоких знаний, ни государственного опыта нет, т. к. царское правительство не допускает его к соучастию во власти, не дает учиться ответственности. Он лишь может «по-ученому» развивать в простолюдине мысль о классовой борьбе

и справедливости, о безнаказанности уничтожения, убийства, разрушения...

И вот наступает революция. Вначале интеллигент в восторге. Затем начинает колебаться: ведь подавляющее большинство интеллигенции не хотело и не поддерживало большевиков. Однако большевики захватывают власть. А в рядах большевиков — *люмпены!* Но люмпены — это же самые бедные, темные, а следовательно, самые униженные и оскорбленные слои народа. Неважно, что большинство люмпенов возникало в результате пьянства, лени, разгильдяйства, или эти люди были просто неудачниками, т. е. не обладали теми качествами, которые определяют будущих хороших администраторов, командиров, правителей или хозяев страны. Для интеллигента, с его воспеванием нищеты народа, — символом народа был именно люмпен. Таким образом, понятие большевизм стало быстро смешиваться в его сознании с понятием подлинного гласа народа, с которым хоть и не находится общего языка, но противостоять ему — святотатство! В гражданскую войну, сопровождавшуюся развалом, хаосом и зверством, интеллигенция в ужасе отшатывается от своего божка — народа и видит в нем только чудовище, забывая, что это — результат ее кропотливой работы с народом<sup>8</sup>.

И тут, как говорит Н. Мандельштам:

«...у всех возникла новая нота: люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны. ... Нарастало презрение и ненависть ко всем видам демократии... Назрели предпосылки для первоклассной диктатуры ... самым презрительным словом стало «интеллигент» («Вторая книга», YMCA-PRESS, Париж, 1972, стр. 87-88).

А растерянный интеллигент свое вновь отчужденное положение принимал почти безропотно. После опыта разрухи и террора, с нэпом родилась у интеллигента иллюзия, что коммунизм кончился, идеология похоронена и правительство вступило на путь национального строительства на основе «единственно возможной для современной России» — сильной власти. Это и было «сменовеховство», ничего общего не имевшее с первоначальными «Вехами».

Алтаев называет этот этап (с момента увлечения «народной революцией» до жажды сильной власти и подчинения ей) двумя первыми соблазнами русской интеллигенции. Всего он насчитывает их шесть, кончая «технократическим» соблазном шестидесятых годов — верой в то, что эволюционирующая власть начнет призывать либеральных интеллигентов, — специалистов своих профессий — к консультациям, чтобы действовать по их советам («Вестник РСХД» № 97, стр. 27-32). Сюда он, по-видимому, относит программные меморандумы и письма Сахарова, Турчина, Медведева и других членам советского правительства.

«Письмо вождям Советского Союза» (YMCA-PRESS, Париж, 1974) Солженицына к категории «технократических» иллюзий не относится, потому что, в отличие от вышеуказанных авторов, Солженицын в нем ставит в качестве *conditio sine qua non* изменение нравственной базы власти, отказ от марксистско-релятивистской идеологии и раскрепощение Церкви с разрешением христианского воспитания молодежи (стр. 47-48). В противоположность солженицынской позиции Алтаев страдает соблазном, укорененным в нравственном

релятивизме: «неприятие зла не есть императив, необходимость».

Как Н. Мандельштам, так и Солженицын (в «Архипелаге», в своих статьях «Из-под глыб» и «Жить не по лжи!» в «Вестнике РСХД», № 108-109-110 за 1973 г.) всюду проводят мысль, что деспотизм Сталина, рабство, несомое советской системой, нуждаются во встречном процессе — в готовности значительных слоев населения подчиниться деспотизму, стать рабами. Естественно, главная ответственность ложится на ведущие слои нации — на интеллигенцию. Правда, она вскоре уничтожается властью (старая интеллигенция в своем большинстве эмигрировала, в России же почти полностью была уничтожена, причем уничтожение началось в годы гражданской войны, продолжалось при нэпе и возобновилось с новой силой в 1929 г.), но смогла ли бы власть укрепиться, если бы интеллигенция (в том числе высшее офицерство, инженеры и ученые) начисто бойкотировала, отказывалась бы ее поддерживать? Н. Мандельштам и Солженицын считают, что нет. Отсюда и возникает призыв Солженицына жить не по лжи: тоталитарная власть нашего века, в отличие от классических абсолютизмов, опирается на псевдодемократическую манипуляцию массами и без поддержки их манипулирований — без аплодисментов, по Солженицыну — устоять не сможет («Письмо вождям...» и «Образованщина», стр. 256-259).

Рецепт гениален своей почти детской простотой и кажется совершенно просто осуществимым для последовательного христианина-персоналиста. Но Алтаев предупреждает: несмотря на уничтожение всех старых классов и прослоек, в том числе и родовой интеллигенции, современные «обра-

зованцы»\* унаследовали от старой интеллигенции ряд черт: отчужденность от народа и власти и — самое главное — этический релятивизм. Первые черты вселяют в них неверие в свои силы, возможность повлиять на отчужденные государство и народ (в этом смысле современная интеллигенция осознала то, о чем предупреждали авторы «Вех» и что в свое время она не пожелала принять; третья черта не только не способствует вере в силу человеческой личности и волевого акта, но и продолжает мирить интеллигенцию со злом.

Правда, Алтаев убедительно показывает, как постепенно менялись в течение десятилетий ценности и умонастроения российской интеллигенции. Старая интеллигенция, не признавая самоценности культуры и веруя в материализм, атеизм, науку, парадоксально была антибуржуазной, жертвенной, альтруистичной, героической. Новый интеллигент

«...ценит культуру ... не думает, что «сапоги выше Пушкина» ... хочет теперь быть «гармоничным человеком», «всесторонне развитым» («Вестник РСХД», № 97, стр. 10). Религии он не враждебен, ценит культурно-историческое значение Церкви и ратует за сохранение «памятников архитектуры» (об этом же и у Солженицына). После всех ужасов, «интеллигент не верит больше ... в прогресс... К счастью, однако, он стихийно склоняется к иррационализму — так же, как от души прежде был рационалистом — и заранее убежден, что человеческий разум разрешить на данном этапе развития своих противоречий всё равно не сможет...». Если он склоняется к религии, «то в итоге это чаще всего какая-либо разновидность спиритуализма, ... в которой буддизм затейливо переплетается с левым гегельянством... Материя не отрицается, но интеллигентный мыслитель невысокого о ней мнения. Невысокого он мнения и об Истории, и вообще о жизни» (там же, стр. 12).

---

\* Алтаев не пользуется этим термином.

Но Алтаев, будто бы парадоксально, утверждает, что в быту эта интеллигенция крайне буржуазна (там же, стр. 10). То же подтверждает и Солженицын в «Образованщине» («Из-под глыб», стр. 232 и др.)<sup>9</sup>. Не такой уж это парадокс: при философском пессимизме и недостаточной вере в Бога есть только два выхода: уйти из жизни или «плюнуть на всё» и брать от неё, паскудной, максимум благополучия и наслаждений («жить суррогатами», как выразилась одна молодая москвичка в разговоре с пишущим эти строки). Те, кто идут на это, рвутся к автомобилям, дачам, подачкам с цекистского стола за «верную службу»; менее способные к жизни по лжи или по своим данным неспособные добиться подобных благ, как, например, рабочие, колхозники, нижний и средний слой ИТР и прочие «Акакии Акакиевичи» (по Гоголю и Померанцу), обращаются к «зеленому змию». Отсюда — катастрофический рост алкоголизма во всех слоях населения СССР за последние 10-15 лет. И только малая часть вырывается из порочного круга — к вере во Христа.

## 2. НАДЕЖДЫ

Нет, безнадежности не замечается ни у Солженицына, ни у Алтаева и Н. Мандельштам, ни у Померанца — мыслителей, у которых друг с другом много общего, хотя Солженицын и страстно спорит с некоторыми из них (см. «Из-под глыб», «Образованщина», стр. 238-247 и «Раскаяние и самоограничение», стр. 130-136).

Но откуда взяться надеждам? До сих пор речь шла о согласии между Алтаевым и Солженицыным в том, что интеллигенция за последние шестьдесят лет деградировала. Больше того, в 1918 г. С. Л. Франк писал в статье «De profundis»:

«Наши славянофилы были, конечно, духовно глубже и плодотворнее вытеснивших их западников, как западники 40-х годов — более значительны, культурны и духовно богаты, чем радикалы 60-х годов» («Из глубины», стр. 325-326).

«Русская интеллигенция, — пишет дальше Франк, — не оценила и не поняла глубоких духовно-общественных прозрений Достоевского и совсем не заметила гениального Константина Леонтьева, тогда как слабая, всё упрощающая и нивелирующая моральная проповедь Толстого имела живое влияние и в значительной мере подготовила те кадры отрицателей государства, родины и культуры, которые на наших глазах погубили Россию». Некрасов, пишет Франк, по шкале той интеллигенции, «выше Пушкина, ...Ленин ...выше Гучкова и Милюкова» (там же). Выход из этого Франк видит в обращении к почве, к своей культуре и вековым духовным ценностям; а в статье «Этика нигилизма» он говорит, что надо «от непроектируемого, противокультурного *нигилистического морализма* ...перейти к творческому, созидающему культуру *религиозному гуманизму*» («Вехи», стр. 210).

Такой религиозный гуманизм может только зиждиться на обращении интеллигенции к культуре как основополагающей базе общества, которую Франк определяет

*«...как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей»,* понимаемую как «совершенствование человеческой природы и воплощение в жизни идеальных ценностей», ...как «высшую и самодовлеющую цель человеческой деятельности» (там же, стр. 186).

Но Н. Мандельштам говорит о популярности стихов своего покойного мужа в Самиздате, потому что они пахнут иррациональным или метарациональным, ибо современный читатель разуверился в человеческой мысли, он ищет духовных, более глубоких прозрений («Вторая книга», стр. 13-15). Но Алтаев подчеркивает, что современный интеллигент ценит культуру как самоценность («Вестник РСХД», № 97, стр. 10). А статьи Ф. Кор-

сакова «Русские судьбы» и А. Б. «Направление перемен» («Из-под глыб») непосредственно посвящены теме новообращения современного русского интеллигента в христианство; в статье А. Б. прямо говорится, что в России происходит христианское возрождение «на фоне общего упадка веры и религиозного чувства во всем мире...» (стр. 153). А. Б. призывает «заменить в нашем сознании идеал борца идеалом подвижника» (стр. 155), что, прежде всего, связано с покаянием, к которому призывает Солженицын, и ростки этого А. Б. видит в современной интеллигенции. К такому же покаянию как единственной основе спасения призывали авторы сборника «Из глубины» (И. А. Покровский, «Перуново заклъятъе» и В. Н. Муравьев, «Рёв племени»), прозревшие корень зла в большевизме в первые месяцы его торжества.

Но тут может возникнуть вопрос, к чему такой интеллигентоцентризм, если в течение всей своей истории интеллигенция (а нынешний кризис на Западе показывает те же изъяны и у западной интеллигенции) только и делала, что деградировала? И Солженицын справедливо обрушивается на неё, а заодно — несправедливо — на Померанца за его надежды на интеллигенцию. Но, как верно пишет Померанц, хороша ли, плоха ли интеллигенция, уж если кто и может что-либо сделать для возрождения национального организма России и возрождения мира, то только ее образованная часть — интеллигенция (см. в «Неопубликованном» статью «Человек ниоткуда», стр. 151 и дальше; те же мысли см. у С. Булгакова в статьях: «Героизм и подвижничество» в «Вехах», стр. 27 и «На пиру богов» в сб. «Из глубины», стр. 148-149).

Споря с этим интеллигентоцентризмом, Солженицын справедливо указывает, что, в отличие от интеллигенции, народ в основном не соблазнил-

ся коммунизмом-сталинизмом, а те, кто соблазнилися, скорее от него отрезвились, чем интеллигенция (см. «Образованщина», стр. 250 и «Раскаяние и самоограничение», стр. 132-136 в сб. «Из-под глыб»). Это же подтверждает и Н. Мандельштам на собственном опыте («Вторая книга», стр. 325-332, 307-308, 669-683). Но ведь и Солженицын, и Н. Мандельштам, и Алтаев, равно как и Ленин с Бухариным, — все они порождение российской интеллигенции. И обращен сборник «Из-под глыб» в основном к интеллигенции! До народных масс он вряд ли дойдет.

И тут возникает вопрос о разных интеллигенциях, т. е. тот же проклятый вопрос: а что такое интеллигенция?

На него было сравнительно легко ответить во второй половине XIX века, когда этот термин и распространился. Интеллигент был образованный (необязательно с дипломом) человек, радикально-нигилистически-атеистически настроенный, возлагавший надежды на плоды человеческого разума, т. е. *веривший* в науку и, как правило, пренебрегавший специализацией. А так как с ранних лет он был поглощен общественными интересами (если необязательно деятельностью), то у него не было возможности и времени вникать в глубь вопросов и наук. Следовательно, он стремился быть «энциклопедическим словарём» с поверхностными, зачастую на веру взятыми знаниями во всех областях.

Но к концу XIX века появился ряд важных общественных тенденций, особенно в связи с Великими реформами Александра II, с одной стороны; с другой, — появилось социальное учение, претендовавшее на научность и наукообразность по своему методу. И от интеллигентов, их последователей, стало требоваться куда больше, чем естест-

венно-научный сентиментальный романтизм дилетантов-народников. Самоуправляющиеся земства (пореформенная деревня) и индустриализация (развитие городов) вызвали большой спрос на профессионалов: агрономов, педагогов, врачей, инженеров, юристов, статистиков и проч. Земские профессионалы, «третье сословие», как известно, становятся проводниками теории «малых дел»: среди интеллигенции начинается размежевание между творческими людьми-практиками и максималистами-революционерами, продолжающими традиции шестидесятников. Аналогичный процесс происходит в самом начале девятисотых годов и среди мыслителей-марксистов. По словам П. Струве («Интеллигенция и революция» в «Вехах»), профессиональный анализ марксизма философами и экономистами вскоре убеждает их в псевдонаучности марксизма и толкает их дальше и вглубь, в конце концов возвращая их, через немецкий идеализм, через Гегеля и Канта, обратно к христианству. Это и была та мыслительная эволюция, из которой в 1909 г. родились «Вехи». Благодаря этим двум параллельным процессам, «Вехи» не оказались в одиночестве, но сразу обрели многочисленных читателей, хоть и представляющих еще меньшинство, а не большинство интеллигенции.

Естественно, что после этих процессов размежевания, но не выхода из рядов интеллигенции ее профессионалов — от инженеров до философов — вышеприведенное однозначное определение интеллигенции стало неадекватным. Вероятно, в этом одна из причин того, почему в свое время интеллигентская масса так яростно набросилась на «веховцев»: она привыкла к упрощенчеству, а тут не только аргументация была сложна, но и само понятие интеллигенции становилось слишком сложным, многосторонним и неопределенным. Всё,

что можно было сказать об интеллигенции начала XX века после этих процессов, — вероятно, можно свести к следующему: *интеллигенция — это категория образованных людей, мыслящих независимо от официально государственного направления, но не обязательно противоречащих ему, способных мыслить критически и обеспокоенных судьбами людей, мира и своего ближнего.*

Теперь снова возник спор об интеллигенции и ее определении. Померанц говорит, что ею можно назвать только лучшую часть образованных слоев населения. Профессионализм, к которому призывают авторы «Вех», уже не удовлетворяет Померанца — свидетеля калечащего человека в СССР, да и во всем мире, узкого «специализма», создающего, по его выражению, «бернардов» (см. в «Неопубликованном» эссе «Квадрильон», стр. 93-101), для которых лабораторная колба — наивысшая ценность и которые способны расколоть мир надвое, уничтожив его половину (по выражению поэта А. Вознесенского в поэме «Оза»), лишь бы провести шикарный эксперимент. «Бернарды» на полном услужении у любых властей, дающих возможность проводить эксперименты и жить безбедно. С нотой оптимизма Померанц говорит, что бернарды — «тип ученого прошлого века» (стр. 96). Для него интеллигент — это человек, который, помимо своей специальности, интересуется культурой в широком смысле этого слова и обеспокоен судьбами брата своего. И таких людей он видит всё больше среди современной интеллигенции; это явление он называет «Ренессансом наизнанку»: тогда художники занимались математикой, теперь физики и математики увлекаются искусством, музыкой, философией, литературой (см. «Человек ниоткуда» в «Неопубликованном», стр. 127-128).

Противоречие между призывами авторов «Вех» к профессионализму и солженицынским предпочтением старой технической интеллигенции гуманитариям («Образованщина», «Из-под глыб», стр. 226; «Архипелаг», кн. II, стр. 306-309), с одной стороны, и померанцевским отрицанием «бернардов», с другой, — только кажущееся. Гуманитарий, описанный А. С. Изгоевым в статье «Об интеллигентной молодежи» («Вехи»), нахватывшийся готовых формул из всех областей знаний, и советский специалист, вы зубривший необходимые формулы для своей узкой специальности, но не обладающий подлинной культурой и не наученный самостоятельно мыслить или даже познавать материалы, процессы, от которых его отрасль специализации зависит, — это две стороны одной и той же медали; оба они, пожалуй, — «образованцы», разве что дореволюционный «образованец» мог лучше пыль в глаза пустить, чем солженицынский промакадемик-Лёня («Архипелаг», кн. I, стр. 204-209).

Подлинный профессионал-интеллигент пытается во всем дойти до *корня*, начиная со своей профессии и кончая *Истиной*. В дореволюционной России стали появляться профессионалы из среды «энциклопедических словарей» (остаток «лишних людей»); теперь происходит обратный процесс, но с теми же конечными результатами: из среды РУМ (терминология К. Вольного, Работники Умственного Труда) во втором, в третьем поколении появляется всё больше интеллигентов в померанцевском смысле, профессионалов, копающих глубоко и ищущих *Истину* сначала в науке, а потом и за ее пределами. Это и есть померанцевский «Ренессанс наизнанку», который и Солженицын, и Шафаревич признают. Появление такого типа людей закономерно и в связи с идейно-интеллекту-

ально-идеологическим тупиком советской системы, и в связи с потребностью научно-технической революции у самостоятельно мыслящих интеллектуалов. Отсюда — недалеко и до понятий христианского органического персонализма, по идее которого у каждого человека должно быть свое место в мировом творчестве, в созидании, в которое каждый вкладывает свой талант, то есть ту осознанную ответственную деятельность, которая направляется им на содействие Добру. Такое понимание жизни-творчества возвращает нас к святоотеческой литературе, которая учит, что ум не может быть нейтральным. Он работает на дьявола или Бога. Но на Бога работает лишь при условии, что человек разумно направляет его творчество к осознанному Добру, к Богу. Во всех иных случаях творчество интеллекта оборачивается во зло.

Кажется, наш век, как никакой, подтвердил истинность этой мысли, особенно в области точных наук, которые предоставляют такую мощь Злу. Ученые физики, математики, биологи острее сталкиваются с дилеммой творчество-зло, чем кто-либо другой. И неслучайно трое из пяти известных авторов сборника «Из-под глыб» — представители точных наук. (В сборниках «Вехи» и «Из глубины» все или почти все, кажется, были гуманитариями).

Выход, говорит Г. Померанц,

«...в том, чтобы стать интеллигентом до конца, чтобы просветился не только интеллект, чтобы просветился и дух» («Незавершенность» в «Неопубликованном», стр. 120).

Солженицын кое в чем соглашается с Померанцем. Не приемлет он утверждения последнего, что «народа больше нет» («Квадрильон» в «Неопубликованном», стр. 102). Но тоже приходит к выводу, что на общем фоне «образованщины» различимы малые крохи подлинной интеллигенции (в

померанцевском смысле), подчеркивая, что «народ в массе своей не участвует в казенной лжи» («Образованщина», «Из-под глыб», стр. 250), и горячо протестует против отношения Померанца к народу в его статьях. «Роль веточки, опущенной в перенасыщенный раствор» («Человек ниоткуда» в «Неопубликованном», стр. 146), отведенной Померанцем «лучшей части интеллигенции» (там же), Солженицын распространяет и на лучшую часть народа («Образованщина», «Из-под глыб», стр. 250-251). Об этом же, собственно, говорит и К. Вольный, призывая к слиянию верующей интеллигенции с верующим народом через Церковь, в ее составе.

Но нам кажется, что спор здесь происходит не по существу, а по деталям: и Померанц, и Солженицын, и Алтаев, и Вольный, и Н. Мандельштам — все, вслед за «Вехами», утверждают, что выход — лишь в обращении к христианству, к духовной культуре, к приятию абсолютной шкалы ценностей. Дальше уже идут недоразумения: Померанц, видящий спасение только в сознательном обращении интеллигенции — «нового народа»<sup>10</sup> — к тем вечным нравственным ценностям, почти бессознательным носителем которых был народ, обрушивается на почвенников, разумея под ними современных русистов-шовинистов с расистско-нацистским уклоном. Солженицын за эту внешнюю антипочвенность корит Померанца, не заметив, что по существу Померанц обращен к почве в глубинном, духовном смысле этого слова, но что эта духовная почва России есть часть христианского универсума, часть универсальной христианской культуры, которая и делает подлинную интеллигенцию универсальной и выделяет ее из массы, т. е. как раз заставляет ее чувствовать себя в чужих странах немного своей, а у себя дома — немного чужой. Это

Померанц и называет интеллигентской диаспорой и напоминает евангельское утверждение, что нет пророка в своем отечестве.

### 3. РЕВОЛЮЦИЯ И СОЦИАЛИЗМ

Мы фактически не останавливаемся из-за недостатка места на теме революции как таковой, полагая, что читателю ясно, что критика позиции, опирающейся на внешнее действие, уже есть осуждение революционного пути как разрешения тех или иных общественных или мировых проблем.

«Для будущности России важно, чтобы социалистической и радикальной интеллигенции не дано было возможности переложить на одних большевиков идейную ответственность за крах всей системы идей. ... Но в области идей должно быть твердо установлено, что между большевизмом и всеми лево-радикальными и социалистическими течениями русской мысли существует тесная, неразрывная связь. ... Русские социалисты, очутясь у власти, или должны были оставаться простыми, ничего не делающими для осуществления своих идей, болтунами, или проделать от а до ижицы всё, что проделали большевики» (А. С. Изгоев, «Социализм, культура и большевизм», «Из глубины», стр. 185).

И вот после длительных попыток соблазниться «очищенными социализмами» у нас теперь есть две отличные работы, выполняющие это завещание почти шестидесятилетней давности. Это книга кибернетика К. Буржуадемова «Очерки растущей идеологии» (Изд-во «Эхо», Мюнхен, 1974) и статья «Социализм» (в сборнике «Из-под глыб») акад. И. Р. Шафаревича, которые разными путями приходят к одному и тому же выводу: несовместимости социализма со свободой и прогрессом.

Поскольку работа Шафаревича написана в том глубоко религиозно-философском плане, которого не касается прагматик Буржуадемов, мы остановимся только на второй. Путем кропотливого

исторического анализа разновидностей социализма-коммунизма на протяжении известной нам истории человечества Шафаревич показывает, что СССР — отнюдь не аномалия, а именно логическое претворение в жизнь принципов социализма, к тому же — далеко не всех. Регламентация общества, например, была куда более полной (по сравнению с СССР) и у инков, и в древней Месопотамии, и в народно-религиозном движении патеренов в средневековой Италии, и у чешских таборитов. Те же принципы общественного устройства крайней регламентации, коллективизма и лишения человека всяческой индивидуальной свободы характерны для «Государства» Платона, «Утопии» Томаса Мора, «Города солнца» Фомы Кампанеллы и «Закона свободы» английского утописта XVII в. Джералда Уинстенли. Так Шафаревич, двигаясь по социалистическим учениям сквозь семнадцать-восемнадцать веков, доходит и до «научного социализма» Маркса.

Короче, *«социализм является одной из основных и наиболее универсальных сил, действующих на протяжении всей истории человечества»*, — пишет Шафаревич (там же, стр. 50), что в корне опровергает марксистское учение о циклической эволюции от первобытного общества через рабовладельчество, феодализм и капитализм к социализму. Следовательно, никакой вехой развития истории социализм не является.

Дальше: уже анализ всех исторических видов социализма в теории и на практике, показывающих бесправие при нем человеческой личности, сам по себе должен подорвать всякое доверие к теориям социал-демократов. Почему именно ваш вид социализма вдруг будет решительно отличаться от всех остальных, знакомых до сих пор человечеству? Морально ли подвергать человечество

сотому опыту после того, как девяносто девять на ту же тему и с теми же основными «ингредиентами» провалились? Да еще и обошлись человечеству так дорого! Ведь на таких условиях и при таких прецедентах ни один научно-исследовательский институт не позволил бы своей лаборатории возобновить опыт...

Но Шафаревич анализирует дальше и глубже, постепенно отбрасывая расхожие оправдания социализма, что, например, такие, как экстремистские формы социализма, разрушение семьи и частной собственности, регламентация труда и насильственный труд, борьба с религией, свойственны будто бы только начальной, революционной стадии социализма, который-де отказывается от них и гуманизируется-модерируется, прочно взяв власть в свои руки. Или что социализм — это обобществление средств производства и подчинение всего экономическим требованиям, плановости, целесообразности.

Шафаревич указывает, что:

— уничтожение семьи и брака, провозглашенное во всех более ранних социалистическо-утопических программах и повторенное в «Коммунистическом манифесте» Маркса, до сих пор ни в одном коммунистическом документе не отвергнуто. Например, в 1929 г. советский профессор Вольфсон в книге «Социология брака и семьи» снова предсказывает, что в обществе построенного социализма семья и брак отпадут. Частичную реализацию этого «идеала» Шафаревич видит в росте разводов, непрочности семьи и брака в СССР и в нарушении советским законом права семьи на религиозное воспитание своих детей;

— о насильственном труде Троцкий на IX съезде партии в 1920 г. (т. е., когда советская власть уже укрепилась) заявил, что, в отличие от

капиталистического общества, при социализме принудительный труд — производителен, и выдвинул свою программу «милитаризации» труда. Система концлагерей, которая целиком и полностью осуществляется в социалистических странах, есть подтверждение неразрывности насилия и рабского труда именно с построенным, а не временно революционным, социализмом;

— гонения на религию принимают разные формы и степени интенсивности в разные периоды развития социалистических обществ, но никогда не прекращаются и всегда ставят себе целью — уничтожение религии;

— экономическая целесообразность и плановость тоже не являются критериями социализма и опровергаются хотя бы характерным стремлением

«распространить социализм своего толка на другие страны — тенденция, не имеющая экономической основы и с чисто государственной точки зрения вредная, приводящая обычно к возникновению молодых и более агрессивных соперников в своем же лагере (там же, стр. 32). ... Многие же чисто экономические принципы, часто провозглашаемые социалистами, например — планирование... не связаны органически с социализмом, который оказывается очень плохо приспособленным для их существования» (стр. 65).

Что же такое социализм? В ответе на этот вопрос опять проявляется поразительная преемственность, идущая от «Вех» к сборнику «Из глубины», а от него — к сборнику «Из-под глыб» (Шафаревич). Но осуждение социализма Шафаревичем более решительно и всесторонне, ибо строится не только на теоретических размышлениях, но и на почти шестидесятилетнем опыте. Правда, тем более пророческими выглядят сегодня статьи в «Вехах», чьи авторы не обладали опытом социализма, но приходили почти к тем же теоретическим положениям, что и Шафаревич, и авторы

сборника «Из глубины», писавшие свои работы всего после нескольких месяцев такого опыта.

Вывод Шафаревича, что суть социализма во все не в рационально-утилитарных принципах экономического обогащения и даже самоупрочнения, а в подчинении всего и вся идеологии (стр. 32), только заостряет определение А. С. Изгоева, что

«...социализм — это христианство без Бога», где «люди... как волки, бросаются один на другого... считают куски в чужом рту и вырывают их оттуда вместе с жизнью» («Социализм, культура и большевизм», «Из глубины», стр. 190). Идет это, как писал еще раньше П. Б. Струве, от основной философии социализма «о коренной зависимости добра и зла в человеке от внешних условий», от учения Оуэна «об образовании человеческого характера, отрицающего идею личной ответственности» («Интеллигенция и революция», «Вехи», стр. 162).

А следовательно, и культуры как таковой, которая слагается из культуры личности, культуры духовной и культуры материальной; по С. Л. Франку, культура — это духовное богатство, равенство, избранность («Этика нигилизма», «Вехи», стр. 186-202). Так цепочка эта нас снова возвращает к выше обсужденной проблеме русской (а не показывает ли современность, что и не только русской?) радикальной интеллигенции. Принцип подчинения всего идеологии враждебен всякой «человеческой индивидуальности». «Наличие индивидуальных отношений» — есть основа жизни и развития, пишет Шафаревич: от стаи селедок, где члены ее не знают друг друга (анонимное общество) — к стае диких гусей, где отдельные члены выполняют определенные, незаменимые никам роли (индивидуализированное общество) и, наконец, к человеческой семье, в которой существует своя иерархия и собственная территория («Социализм», «Из-под глыб», стр. 63).

И в человеческом обществе иерархия и собственность... способствуют укреплению индивидуальности: обеспечивают свое, индивидуальное, никем не оспариваемое место в жизни, создают чувство независимости и собственного достоинства. И их уничтожение тоже относится к числу основных целей, выдвигаемых социализмом.

Конечно, только самый фундамент человеческого общества имеет такое биологическое происхождение. Основные же силы, способствующие развитию индивидуальности, являются специфически-человеческими. Это: религия, мораль, чувство личного участия в истории, ответственность за судьбу человечества. Социализм враждебен и им» (там же).

Таким образом, продемонстрировав противоположность социализма самой жизни и в биологическом, и в духовном плане, Шафаревич последовательно приходит к выводу, намеченному еще в сборниках «Веги» и «Из глубины»:

«...жизнь, полностью воплотившая социалистические идеалы, должна привести к *...вымиранию всего человечества, его смерти*» (там же, стр. 66).

Этот вывод, достаточно убедительный сам по себе, иллюстрированный такими примерами замедленного «самогеноцида», как катастрофический рост алкоголизма в социалистических странах, а особенно в СССР, Шафаревич подкрепляет менее убедительной фрейдистской теорией о стремлении к самоуничтожению, которое иногда якобы начинает преобладать в человеческом обществе, и считает, что социализм и есть проявление этого инстинкта смерти (там же, стр. 69-70). Доказательства этого он видит в повторяемости темы смерти и готовности к смерти (например, в советской песне) (там же, стр. 67-68), а также в повторяемости видения коллективной гибели будущего человечества у «отцов» современного социализма — Сен-Симона, Фурье, Энгельса: «от высыхания земного шара, ...опрокидывания полюсов на экватор... от

охлаждения Земли» (там же, стр. 68). Поскольку эти идеи ни один из социалистических мыслителей не обосновывает научно, а принимает на веру, становится ясно, что они — своего рода «идефикс» у «отцов» социализма, утверждает Шафаревич, подчеркивая, что это квазирелигиозное учение о конце мира (т. е. социализм), в отличие от христианского,

«...выводит гибель человечества из некоторой случайной, внешней причины и тем самым лишает смысла всю его историю» (там же, стр. 69).

Так Шафаревич показывает антиисторичность и антинаучность социализма. Он считает, что Марксова попытка создать «научный социализм» — кратковременное исключение из антинаучного социализма, подкрепляя это еще ссылкой на Герберта Маркузе, который говорит,

«...что для современных «авангардистских левых» Фурье актуальнее Маркса именно ввиду его большей утопичности. Он (Маркузе. — Д. П.) призывает заменить развитие социализма «от утопии к науке» его развитием «от науки к утопии» (там же, стр. 71).

По аналогии можно добавить, что если религиозные верования человека проделали путь от магизма и расизма (т. е. своего рода утопий, язычества и первобытных форм единобожия) к христианству, благодаря Божественному Откровению, то социализм, — через свою систему утопий, магизма и мифов сатанинского антиоткровения — должен создать или

«...хаос самоутверждающихся вошь, т. е. *ад* (...ад, как разложение жизни, есть лишь неизбежное роковое последствие выхождения из плана высшего миростроительства Бога)»\*,

---

\* С. А. Аскольдов, «Религиозный смысл русской революции», «Из глубины», стр. 59.

или через осознание этого ада, о котором говорили авторы сборника «Из глубины», привести к воссозданию новой жизни, о котором с такой силой говорит сейчас Солженицын.

О применении Шафаревичем фрейдистской теории инстинкта смерти следовало бы поспорить. Социализм — это скорее попытка *бежать от смерти*, а не стремление к ней. Недаром Солженицын в одной из своих «крохоток» пишет, что кладбища в СССР уничтожаются, чтобы они не мешали нам жить, ибо: «Мы-то, мы-то ведь никогда не умрем!» (т. 5, стр. 231, «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1969). В социализме даже есть черты некоего подсознательно-языческого жертвоприношения человека в многомиллионном размере, наподобие ацтеков: пусть гибнут другие, чтобы жили мы или наши будущие поколения.

Прочитав этот очерк, читатель удивленно может задать вопрос: ведь вот в Швеции, Англии, в Западной Германии социалисты находятся у власти — и ничего... свобода есть.

Но дело в том, что еще П. Б. Струве видел на Западе распад социализма и замену его бентамизмом (т. е. материалистическим гедонизмом и утилитаризмом в сочетании с государственной социальной политикой). В своей статье «Интеллигенция и революция» он писал:

«Последнее усилие спасти социализм — синдикализм — есть, с одной стороны, попытка романтического возрождения социализма, откровенного возведения его к стихийным иррациональным началам, а с другой стороны, он означает столь же откровенный призыв к варварству» («Вехи», стр. 174).

Он, однако, ошибался, полагая, что на более равномерно развивающемся Западе синдикализм обречен на провал. Именно сегодня мы наблюдаем

его развитие до абсурдной безответственности, когда бастуют учителя и врачи, полицейские и почтовые служащие, разрушая самые основы человеческого общежития: связь, информацию, защиту человека от насилия преступников, физическое здоровье и образование-просвещение. Это и есть, хотя и в другой форме, то же адско-смертельное для человечества всеобщее «уравнение», происходящее «на почве разбуженного и разожжённого самоутверждения...» («Из глубины», стр. 59). О нем именно предупреждал Аскольдов (в статье «Религиозный смысл русской революции») как об одной из основных черт секулярного гуманизма, характерного для любого современного общества, построенного на материализме и утилитаризме, для социалистического же, с его принудительным, насильственным уравнительством — в особенности.

Таким образом, проблемы, поставленные во всех трех сборниках, касаются не только России, но раскрывают перед нами страшную глубину и трагичность тупика всей современной цивилизации.

#### 4. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СБОРНИКОМ «ИЗ-ПОД ГЛЫБ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ

Во-первых, в сборнике «Из-под глыб» бросается в глаза особое раскрытие национального вопроса, который в таком разрезе ни в «Вехах», ни в сборнике «Из глубины» не ставился.

Во-вторых, в сборнике «Из-под глыб» отсутствуют вопросы права.

Как это ни парадоксально, но в «Вехах», вышедших в 1909 г., национальный вопрос совсем не затронут, хоть Россия и называлась в те годы революционерами «тюрьмой народов». Там есть толь-

ко рассуждения об ответственности интеллигенции перед своим народом, о необходимости вернуться к истокам духовной культуры народа, чтобы слиться с ним и начать наконец творить не две отдельных, а единую культуру. В тот период еще сильно было ощущение сверхнациональности империи, ее вселенский дух, чтобы можно было предвидеть нынешнее положение в стране<sup>11</sup>.

Но началась революция, выдвинувшая лозунги интернационализма. В ответ на них в сборнике «Из глубины» появляется первая статья на эту тему. Автор ее П. Б. Струве дает определение нации в своей статье «Исторический смысл русской революции и национальные задачи».

«Нация — это духовное единство, создаваемое и поддерживаемое общностью культуры, духовного содержания, завещанного прошлым, живого в настоящем и в нем творимого для будущего» (стр. 303).

Если сравнить это определение с официальным советским, разработанным Сталиным в 1913 г. и одобренным Лениным (нация — это *«исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры»* (выделено мною. — Д. П.)<sup>12</sup>, то нам раскроются и некоторые источники роста национального антагонизма в течение советского периода, особенно, если обратить внимание на выделенные нами слова в советской формулировке. Определение П. Б. Струве динамично и предоставляет свободу для проявления субъективных настроений людей, входящих в состав нации или в какой-то момент из нее выходящих. Короче: нация — налицо, если ее участники и члены ощущают духовное родство и хотят совместно строить общее будущее; если же такое же-

ление исчезает, нация распадается, и незачем удерживать ее насильно. Согласно определению П. Б. Струве, может существовать многоязычная единая швейцарская нация и бестерриториальная единая еврейская нация (даже без общего языка). По сталинской формулировке подобные нации не могут быть, *потому что не могут быть*. Из такой формулировки рождается неразрешимость проблемы еврейской нации в составе СССР. По этому же определению — нация есть нечто статичное и незыблемое, однажды — раз и навсегда — определенное. По этой формулировке, например, если историческое прошлое, как и язык, у великороссов и малороссов были общими и экономические взаимосвязи до сих пор сильны, то украинского сепаратизма не может быть ни в настоящем, ни в будущем, *потому что не может быть\**.

Но, возвращаясь к статье П. Б. Струве, следует сказать, что он уже тогда почувствовал родство между марксистской классовой теорией, с одной стороны, и национальной рознью, с другой: «Нация... есть... такое же понятие, как класс» («Из глубины», стр. 303). Но он развивает также мысль, что в нации есть тенденция к взаимному единению ее членов и участников на духовно-исторической почве. Нации друг от друга обособлены и потому не находятся друг с другом обязательно в постоянном конфликте. Поэтому международные войны обычно сравнительно коротки и имеют начало и конец. «Классовый интернационализм... кровно связан с идеей классовой борьбы и с настроениями гражданской войны» (там же, стр. 302). Гражданская война может быть бесконечно более кровавой и длительной, чем международная,

---

\* Это, кстати, не единственный случай сближения советской идеологии с идеологией правых реакционеров.

и ведет к внутреннему разъединению наций и народов.

«Интернационалистический социализм, опирающийся на идею классовой борьбы... привел к разрушению государства, к величайшему человеконенавистничеству, к отказу от всего, что поднимает отдельного человека над звериным образом» (там же, стр. 303).

Разжигаемая таким образом злоба, после уничтожения поочередно всех «антагонистических классов» — от дворян до крестьян-единоличников и духовенства — неизбежно оборачивается против других групп населения, если в стране — несвобода, если человек неудовлетворен своим положением, материальным и общественным, и разочаровался в реальных перспективах. Казалось бы, в таком положении злоба должна оборачиваться против власть имущих. В какой-то степени оно так и есть, но власть имущие для самозащиты делают всё, чтобы переключить ее на различных козлов отпущения: интеллигенцию, евреев, а в национальных республиках — на русских, тем более, что официальный язык у них — русский и столица СССР — в России; следовательно, отсюда и происходит источник подавления, хотя, как указывает Шафаревич, в большинстве республик люди живут лучше, чем в РСФСР. Как и всякий национализм, национальный антагонизм нерационален. Поэтому, по словам Шафаревича, нередко русский слышит в

«...среднеазиатских городах выкрик: «вот китайцы придут, они вам покажут!» Говорят это обычно не совсем некультурные люди, которые не могут не знать, что для них будет означать приход китайцев. ...Знают — и тем не менее, говорят. Видимо, накал чувств, подавляющих даже инстинкт самосохранения, здесь такого же уровня, как на Западной Украине в 1941 г., когда отряды ОУН нападали на отступавшие советские войска, а руководство ОУН заключило соглашение с немцами, хотя по примеру Поль-

ши не могло не предвидеть того, что через 1,5 месяца и произошло — ареста *всего* руководства...» («Обособление или сближение?», «Из-под глыб», стр. 97).

Затем Шафаревич логически излагает несостоятельность и упрощенство теорий русской колонизации остальных народов в СССР и столь же последовательно доказывает, что

*«...основные особенности национальной жизни СССР являются непосредственным следствием господства у нас социалистической идеологии. Эта идеология враждебна каждой нации, как она враждебна и каждой отдельной человеческой личности»* (там же, стр. 106).

Мысль проста и верна: нация, национальность, национальные особенности — это тоже отличительные черты, проявление индивидуальности, смертельным врагом которой является уравнилельный социализм.

Из тупика национального антагонизма Шафаревич видит выход в признании того, что

*«...нельзя переложить вину за сложившееся положение на один народ, ...что ...ее разделяют все. Такая точка зрения... освобождает мысль от веры в подвластность внешним причинам... и направляет ее на причины, скрытые внутри нас, которые тем самым в большей мере подчинены нам»* (там же, стр. 107).

Иными словами, и тут спасение — в покаянии, мысль, которую дальше и глубже развивает Солженицын в статье «Раскаяние и самоограничение», быть может, иногда слишком эмоционально («Из-под глыб», стр. 115-150). Да и Шафаревичу его строго логическое мышление немного изменяет, когда он от национального вопроса переходит к теме эмиграции, объясняя стремление к ней

*«...надеждой «убежать от своей тени» — внешними средствами решить проблемы по существу внутренние»* («Обособление или сближение?», «Из-под глыб», стр. 107).

В упрек эмигрирующим интеллигентам он ставит в качестве примера верующих, которые за свою веру шли в лагерь, но не эмигрировали. Тут уместен вопрос: а была ли альтернатива эмиграции у верующих тридцатых годов и есть ли она у них в шестидесятых-семидесятых?

Ведь в свое время староверы эмигрировали, и никто их за это не осуждал. А ныне немало представителей интеллигенции эмигрировало только после того, как власть лишила их всех возможностей творчества на родине, иначе говоря, — служения людям. Но не цель нашей статьи — полемизировать с более слабыми местами сборника «Из-под глыб», — они неизбежны в любом коллективном труде.

Очень интересны, например, в той же статье Шафаревича мысли о создании свободного союза свободных и культурно-независимых народов в одном союзном государстве, в противоположность тенденции к распаду государства на мелкие нации, которые совершенно самостоятельно существовать в сегодняшнем мире всё равно не могут и становятся жертвами разных форм эксплуатации со стороны великих наций. Он же говорит и о широте русской культуры, выходящей далеко за рамки великорусской национальности именно благодаря многонациональности исторического российского государства.

Но было бы неверно из этого заключить, что авторы сборника «Из-под глыб» против свободы национального выбора для народов СССР. Солженицын в статье «Раскаяние и самоограничение» (о национальном раскаянии) прямо призывает Россию — в этническом смысле этого слова — никого не держать насильно, дать свободу отойти от нее тем народам, кто этого захочет (стр. 143).

Итак, «братство народов» в СССР явно при-

вело страну к небывалой внутри- и межнациональной вражде. Главная заслуга этого *русского* сборника в этом вопросе, что авторы его поставили проблему честно и открыто и что стоят они на позиции подлинной свободы выбора своих судеб для народов, которые в данный момент удерживаются в составе единого государства голой силой.

## 5. ПРОБЛЕМА ПРАВА И ПРАВОСОЗНАНИЯ

К сожалению, эта проблема не имеет глубоких корней в русской традиции. Учение апостола Павла о Благодати Нового завета, пришедшего на смену Закону Ветхого завета, повторенное так блестяще в знаменитом «Слове» Киевского митрополита Иллариона, очевидно для образованного человека прошедшей эпохи, мысль которого, как правило, питалась церковным просвещением и вращалась вокруг вопросов вечного бытия, а не временного пребывания на этом свете, отодвигала на второй план мысли о правовом упорядочении взаимоотношений государства и личности. Мышление же правителей было направлено на национальное самосохранение материально скудного и физически незащищенного Московского государства. Оно работало в направлении подчинения человека государству. Только во второй половине XVIII века внешнее положение Российской империи стало достаточно стабильным. Характерно, что с момента внешней стабилизации начинается рост общественных движений и внутригосударственных реформ, достигших своей вершины в Великих реформах Александра II; в тот период и были заложены основы правового государства в России.

Только немногие понимали всю важность этого процесса. К ним принадлежали авторы сборников «Вехи» и «Из глубины». Тема эта встречается во многих статьях сборников. Одна из них — статья

Б. Кистяковского «В защиту права» в «Вехах» — целиком посвящена этой теме. Указывая в ней на пробел в правосознании русской интеллигенции, он говорит об отсутствии в русской литературе трактатов о праве в духе, например, мыслителей Гоббса, Фильмера, Монтескье и других, трактаты которых в их странах имели большое воспитательное значение, приобщая образованные слои к правосознанию.

Кистяковский вспоминает о Герцене и славянофилах, которые видели в неуважении русского человека к закону (обхождении и нарушении его) «известное преимущество».

«Так, Константин Аксаков утверждал, что в то время, как «западное человечество» двинулось «путем внешней правды, путем государства», русский народ пошел «путем «внутренней правды» (стр. 131), усматривая якобы в правовых гарантиях зло; «...пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет добра, чем стоять с помощью зла» (слова К. Аксакова в статье Кистяковского, там же).

В подобных мнениях Кистяковский видит игнорирование значения правовых принципов, нежелание думать о регуляторах человеческого общежития как о факторах нейтральных по отношению к добру и злу. Он соглашается, что

«...нормы права и нормы нравственности в сознании русского народа... живут в слитном состоянии. ...Но именно тут интеллигенция должна была бы прийти на помощь народу... На одной этике нельзя построить конкретных общественных форм» (там же, стр. 143).

Вместо этого интеллигенция в основном шла по пути Герцена или славянофилов, совершенно не готовя народ к правовой ответственности на случай плюрализации власти, да и сама ее не воспринимала, чем и способствовала краху в 1917 г. и разгулу бесправия после революции и до наших дней.

Казалось бы, эта правовая дилемма как одно из основных зол советского общества должна быть предельно ясна современному критически мыслящему российскому интеллигенту. И действительно, на правовой основе возникло Демократическое движение шестидесятых годов. Но почему же тогда эта тема отсутствует в сборнике «Из-под глыб»?

Самый простой ответ был бы таков: советская система, с ее конституционно-юридическим лицемерием, террором, лагерями, презрением к человеческой личности, разрушила и те крохи правового сознания, которые имелись у дореволюционной русской интеллигенции. Но... слишком одарены, глубоки и свободны от советских штампов авторы сборника, чтобы допустить у них полное невежество в области права. Поэтому следует искать иной ответ.

С одной стороны, их вера в спасение страны путем защиты прав поколеблена:

- а) неудачей и бесперспективностью Демократического движения;
- б) современным кризисом западных демократий, покоящихся на строго установленных правовых отношениях.

Этот пример и заставляет снова задуматься над тем, можно ли строить общественные отношения на принципах нейтральных по отношению к добру и злу, защитником которых выступал Кистяковский. Ведь именно нравственная нейтральность права (релятивизм в конечном итоге) приводит к легализации на Западе сект сатанистов (а в Канаде, например, и к выделению для них государственных ссуд в рамках бюджета, идущего на культурные потребности населения) и к отсутствию контроля над массовой информацией и морального ограничения частного предприниматель-

ства, на которые сетует Агурский как на изъяны демократического общества, ведущие к лишению индивида возможностей борьбы с засорением мозгов рекламой, порнографическими фильмами и литературой и пр. (статья «Современные общественно-экономические системы и их перспективы», «Из-под глыб», стр. 83).

Вероятно, эти наблюдения и размышления еще раз убедили авторов «Из-под глыб», что ныне весь путь политических и правовых отношений пройден до того предела, где они обретают свою противоположность: абсолютизация права и прав достигнута ценой разрушения общества — дробления его на изолированные осколки (о чем предупреждали Запад еще ранние славянофилы); отмирает ощущение целого, а следовательно, и ответственность за него; это приводит к бесправию и беззащитности человека перед забастовками, инфляцией, растущей преступностью; (в некоторых случаях это приводит даже к культу правонарушителя\*); человек беззащитен перед открытой пропагандой зла, обмана и насилия, проводящейся всеми средствами массовой информации, и больше всего калечащей молодежь. Отсюда одним из авторов сборника — Шафаревичем («Есть ли у России будущее?») — делается следующий вывод:

Спасение России «должно осуществляться не через *власть*, а через *жертву*. ...Всё человечество зашло сейчас в тупик... цивилизация, основанная на идеологии «прогресса», приводит к противоречиям, которых эта цивилизация не может разрешить. И кажется, что путь воскресения России тот же, на котором человечество может най-

---

\* Например, уотергейтские преступники, отсидевшие чисто символические сроки, объезжают университеты Северной Америки с докладами, за что получают гонорары в 2-3 тысячи долларов, в то время как ученые с мировым именем могут рассчитывать на предельно высокий гонорар в 200-300 дол.

ти выход из тупика, найти спасение от бессмысленной гонки индустриального общества, культа власти, мрака неверия. Мы первыми пришли к точке, откуда видна единственность этого пути, от нас зависит вступить на него и показать его другим... (стр. 275). Одно из самых древних религиозных представлений заключается в том, что для приобретения сверхъестественных сил надо... пройти через смерть. ...Таково сейчас положение России: она прошла через смерть и может услышать голос Бога. Но Бог творит историю руками людей, и это мы, каждый из нас, может услышать Его голос. А может, конечно, и не слышать. И остаться трупом в пустыне, которая покрывает развалины России» (стр. 276)<sup>13</sup>.

Но России ли только? Ощущение тупика всего современного мира, а не только России, у автора налицо. Это, кстати, выгодно и парадоксально отличает сборник «Из-под глыб» от двух его предшественников. Парадоксально потому, что для авторов сборников «Вехи» и «Из глубины», живших в России с открытыми границами, бывавших в Западной Европе и хорошо знавших ее, видение кризиса почти полностью ограничивалось Россией и русским обществом; изолированные коммунистическим режимом от остального мира авторы «Из-под глыб» гораздо больше ощущают глобальность кризиса и тупика всего современного человечества.

Сильно отличается по духу от материалов сборников «Вехи» и «Из глубины», да, пожалуй, и от остальных статей «Из-под глыб» работа Агурского — «Современные общественно-экономические системы и их перспективы». Отличается конкретностью политэкономической тематики. Автор ее прямо предлагает авторитарную систему нового общественного устройства. Мы уже касались его верной мысли об отсутствии в демократических обществах контроля над массовой информацией. И вот Агурский выступает за восстановление (а где и за сохранение) строгой цензуры массовой информации во всех сферах общественной деятельности,

могущей отрицательно влиять на жизнь человека. Решение этой проблемы он видит не в назначении, а в свободном выборе цензоров, чтобы снова не впасть в состояние всезамораживающей тоталитарно-бюрократической диктатуры (стр. 94)<sup>14</sup>. Встает, однако, вопрос, не будут ли выборные цензоры так же догматичны, безответственны и подвержены давлению массовых вкусов, как и все другие современные демократические учреждения? Вероятно, решение следует искать скорее в области расширения прав юридических органов и строгого соблюдения законности и законов; причем законы, касающиеся средств массовой информации, должны действительно защищать личность и ее права от государства, общества и средств связи.

А вопросами именно права сборник «Из-под глыб» всё-таки пренебрег, и — к великому сожалению, хотя это пренебрежение и понятно, как мы упоминали выше. Если вникнуть в суть и подтекст статей этого сборника, делается ясно, что эсхатология и апокалипсические предчувствия его авторов не вяжутся с «нравственно нейтральным» правом. В отличие от «Вех», еще в 1909 г. предупреждавших о надвигавшейся катастрофе, ставивших проблему исправления взаимоотношений между интеллигенцией и властью и между интеллигенцией и народом (поэтому очень кстати был призыв к большому правосознанию), для авторов «Из-под глыб», как и для всех нас, катастрофа уже произошла и продолжается; вопрос для них стоит совершенно конкретно: а именно, как из этой катастрофы выкарабкаться. Настроение авторов «Из-под глыб» таково, что единственно возможный путь — это путь духовного возрождения, начинающийся с отказа «жить по лжи». Надо духовно проснуться, каждому осознать свою нравственную ответственность, всё же остальное приложится.

Действительно, в такой ситуации правовые вопросы становятся вторичными, тем более, что абсолютизация их тоже опасна для общества.

В нашу эпоху «одиннадцатого часа»<sup>15</sup> повторяющиеся в сборнике призывы к покаянию, тема уже начавшегося религиозного возрождения — прихода российского человека к Церкви — звучит упорно, мощно и тревожно как набат. И хотя в сборниках «Вехи» и «Из глубины» мы ее тоже слышали, но великая разница в том, что то были лишь *вехи*, а тут — *глыбы*, завалившие живых людей в живой стране<sup>16</sup>.

Из-под глыб и раздаются голоса о том перво-степенно важном, как спасти себя и свой Дом — Россию.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. статьи: М. О. Гершензон, «Творческое самосознание» (стр. 70-96) и П. Б. Струве, «Интеллигенция и революция» (стр. 154-174). «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е издание. Москва, 1909. Переиздан «Посевом» в 1967 г., Франкфурт-на-Майне.

<sup>2</sup> «Из глубины». Сборник статей о русской революции. 1918-1921, Москва. Переиздан УМСА-PRESS в 1967 году, Париж.

<sup>3</sup> «Из-под глыб». Сборник статей. Москва, 1974. УМСА-PRESS, 1974, Париж.

<sup>4</sup> Г. Померанц. Неопубликованное. Большие и маленькие эссе. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1972. (См. в нем «Квадрильон», «Незавершенность» и «Человек ниоткуда»). «Вестник РСХД» № 97, Париж, 1970: О. Алтаев, «Двойное сознание интеллигенции и псевдо-культура». К. Вольный, «Интеллигенция и демократическое движение», СССР, 1970 (Архив Самиздата радио «Свобода» (АС) I 607).

<sup>5</sup> В «веховском» смысле «неонародничества» к нему следует причислить всех участников сборника «Из-под глыб», — в смысле призыва к почвенному сближению с народом и его вековой духовной культурой. В таком контексте можно упомянуть и Н. Мандельштам, с ее теплыми отзывами о народе, и В. Осипова, с его журналами «Вече» и «Земля» (для него характерно более классическое славянофильско-народническое направление).

<sup>6</sup> У М. О. Гершензона в статье «Творческое самосознание» есть строки о несоответствии учителя-интеллекта и ученика из народа: «...народ ищет знания исключительно практического, а именно двух родов: низшего, технического, включая грамоту, и высшего, метафизического, уясняющего смысл жизни и дающего силу жить». Ничего этого нигилистический дилетантствующий интеллигент дать народу не может («Вехи», стр. 86 и дальше).

<sup>7</sup> Классовая борьба усматривает «в корыстолюбии высших классов единственный источник всяческого зла, а в таком же... корыстолюбии низших классов — священную силу, творящую добро и правду... (это) несет в себе имманентную необходимость универсального общественного лицемерия, освящение низменно-корыстных мотивов моральным пафосом благородства и бескорыстия» (С. Л. Франк, «De profundis», «Из глубины», стр. 318).

<sup>8</sup> С. А. Аскольдов в статье «Религиозный смысл русской революции» говорит, что из трех основных составных частей души каждого человека — «святое», «человеческое» и «звериное» — в русской душе несоразмерно слабо, по сравнению с другими народами, развито специфически «человеческое»; революция вытасила в русском народе наружу звериное, заглушив святое. И. А. Покровский в статье «Перуново заклатье» добавляет, что переход от монархии к республике — очень трудный переход от государственной системы, опирающейся на иррациональные начала, к системе, опирающейся на прозаическо-рациональное начало. В период такого переворота можно «надеяться только на здоровый инстинкт народа да на разумное руководство им со стороны интеллигенции». Но такого руководства наша интеллигенция не дала. Поэтому, как говорит в статье «Рёв племени» В. Н. Муравьев, «русский народ, появившийся перед нами в образе Смердякова... имеет право сказать интеллигенции перед трупом бездыханной России: ан ты главный убивец и есть!» («Из глубины», стр. 44-66, 272-277 и 242-243).

<sup>9</sup> Интересно, «буржуизацию» русской интеллигенции предвидел еще П. Б. Струве в статье «Этика нигилизма» («Вехи», стр. 173): по мере экономического прогресса и будет происходить поглощение интеллигенции развивающимся государством и использование ее, что приведет к примирению интеллигенции с государством. Алтаев и наблюдает этот парадокс сегодня: интеллигенция породила большевизм и тут же от него отшатнулась, ничего не обретя взамен, т. к. и террор, и классовая борьба были ею приняты с самого начала. Современная советская бюрократия смыкается с интеллигенцией. «Ее производящая способность — это превращенная способность интеллигенции» (стр. 16). В отличие от царской, советская власть ее использует, интеллигенция находится у нее в услужении и: «Интеллигенция и не принимает власть, и одновременно боится себе в этом признаться...» («Вестник РСХД», № 97, стр. 19).

<sup>10</sup> Померанец отнюдь не радуется уничтожению крестьянства коллективизацией и превращению народа в деклассированные массы; наоборот, он горюет об этом, но считает фактом бесповоротным. А облик «нового народа», в смысле создателя и хранителя национальных духовных ценностей и культуры, он видит в представителях новой подлинной интеллигенции и в том, в частности, что создатели нового фольклора — интеллигенты: Галич, Окуджава, Высоцкий и т. д... (См. «Человек ниоткуда», особенно стр. 127-175.)

<sup>11</sup> См. рассуждения о наднациональности имперской русскости у А. Пятигорского, «Уход Дандарона» в «Континенте» № 3, 1975, стр. 152. То же имеет в виду П. Державин (Е. Барабанов), когда говорит, что границы России «не безусловны, ибо Россия нечто большее, нежели границы той или иной ее государственной формы... Россия — это великая культура, великий язык, великое религиозное творчество» («Заметки о национальном возрождении», «Вестник РСХД», № 106, 1972, стр. 274). Но в той же статье он анализирует рост национальных трений в СССР, центробежные тенденции, в том числе и рост великорусского шовинистического национализма, осуждает эти явления и винит в них советско-марксистскую систему, которая, однажды потеряв идеологический кредит интернационализма и не достигнув материального благополучия (которые были единственными официальными целями идеологии), не может теперь ничем привлечь составляющие страну народы к единению, будучи к тому же актив-

ным врагом единственно возможного объединяющего фактора — российской духовной культуры (стр. 261-274). К этому же можно отнести слова свящ. С. Желудкова о советской системе как о грандиозном эксперименте на тему: **«Что будет с великим народом, если лишить его интеллектуальной свободы?»** Его ответ таков: «Народ перестанет быть великим» («К размышлениям об интеллектуальной свободе», «Вестник РСХД» № 94, 1969 г., стр. 55). Национализм-шовинизм и есть признак вырождения, превращение в малую, неуверенную в себе нацию с комплексом неполноценности.

<sup>12</sup> Интересно, что это сталинско-ленинское определение нации полностью приведено в «Энциклопедическом словаре» 1954 г. (т. 2, стр. 475), но в БСЭ 3-го издания приводится то же понятие нации, дословно же это определение не дано (т. 17, 1974, стр. 375-76), хотя дискуссия по вопросу о национальности, шедшая на страницах «Вопросов истории» и других советских журналов между 1964 и 1971 гг., закончилась признанием сталинского определения нации как наиболее соответствующего марксизму-ленинизму (см. мою статью: «Национализм как один из факторов дисидентства в СССР», «Canadian Review of Studies in Nationalism», г. изд. 2-й, № 1, июль—декабрь 1974 г.)

<sup>13</sup> См. переключку темы смерти страны, народа, апокалипсического видения гибели у Шафаревича с авторами «Вех», «Из глубины», с «Письмом вождям Советского Союза» Солженицына и др.

<sup>14</sup> Цит. соч., особенно стр. 78-94. Это отсутствие иллюзий в отношении западной демократии тоже выгодно отличает сборник «Из-под глыб» и глубину мысли в нем от большинства материалов Демократического движения.

<sup>15</sup> А. Б., «Из-под глыб», стр. 157. Он напоминает, что еще Нестор-летописец сравнил русский народ с «работниками одиннадцатого часа».

<sup>16</sup> Отсюда, вероятно, и повышенная эмоциональность сборника по сравнению с его обоими предшественниками. Характерно, что в сб. «Из глубины», в свою очередь, созданном по горячим следам захвата власти большевиками, эмоциональности больше, чем в «Вехах», которые наиболее строго профессиональны (философские, социологические, педагогические, психологические и юридические анализы) из всех трех сборников.

Повышенная эмоциональность в сб. «Из-под глыб» особенно ярко проявляется в статье В. М. Борисова, который пытается (довольно неубедительно), оправдать национальное разделение (наличие народов, наций) цитатами из Нового Завета, забывая о прямых словах ап. Павла, что для Христа «несть ни Еллина, ни Иудея» (Посл. к Кол., 3, II). Если бы первые христиане поняли учение Христа по-Борисовски, то христианство стало бы национальной сектой части евреев, и только. Эти тенденции были у первых христиан из иудеев, и апостол Павел усиленно с ними боролся, что видно из его Посланий; и победила сверхнациональная вселенская идея христианства, которую Борисов как бы косвенно пытается снизить, приравнивая слова из «Откровения» (которое вообще иносказательно) «Спасенные народы...» как свидетельство признания Богом нации как «соборной личности», предназначенной чуть ли не к вечному существованию. (См. его «Национальное возрождение и нация-личность», особенно стр. 206).

А. Елифанов

# Пути Добровольческого движения

1918 — 1919 гг.

...Зовет же вас  
Вся Русь богова —  
Добровольцами!  
Волю ж добрую,  
Братья! В вечный град —  
Вербный въезд!  
Крепко меч держа,  
Крепче крест...

*Марина Цветаева, «Перекоп»*

Есть в русской истории страницы, о которых трудно говорить беспристрастно и, может быть, даже не нужно. К ним принадлежат, например, такие события, как Раскол XVII века, 1812 год, революции 1917 года или гражданская война. В эти редкие, яркие и роковые эпохи Россия жила чувствами и страстями, люди, почти не руководствуясь законами общества и разума, бросались в бой и погибали иной раз и за призрачные красивые идеалы.

В такие времена идея жертвы и смерти брала верх над идеей счастья и жизни, — тысячи раскольников добровольно сжигали себя на кострах, тысячи гимназистов искали смерть на поле брани... Русское Добровольческое движение гражданской

войны нельзя понять и объяснить, основываясь на категориях разума. Добровольческая армия сплотила в своих рядах людей чрезвычайно разных по образованию, социальному происхождению, жизненному пути. В ее рядах сражались те, в душах которых побеждали два чувства — ненависть к большевикам и любовь к России. Всё, что было созвучно этим чувствам, принималось добровольцами, всё, что не было — отбрасывалось.

Добровольчество как явление — глубоко дуалистично. В нем ненависть и любовь связаны неразрывно. В нем сочетались чистые порывы души лучшей части российского юношества с казнями и «самоснабжением». В людях часто преобладало то чувство ненависти, то любви. Но следует всё-таки признать, что по крайней мере у вождей Добровольческого движения было больше любви к России, чем ненависти к врагам. Генералы Алексеев и Марков более типичны, чем Слащев-вешатель.

Основная задача этого исследования — внимательно отнестись к идеям и делам самих добровольцев. Мы сознательно пользовались только свидетельствами добровольцев, главным образом воспоминаниями участников Движения или людей, относящихся к нему с симпатией. От подобного подхода, вероятно, может пострадать историческая «объективность», но зато легче ощутится и вернее передастся идея Добровольческого движения и человеческий облик самих добровольцев.

Исследуя идеи и дела добровольцев Белого движения\*, мы не задавались целью восстановить

---

\* В статье понятия «Добровольческая армия», «Добровольческое движение», «Белая армия» и «Белое движение» употребляются попеременно и в значительной мере произвольно. Дело в том, что в мемуарной и исторической

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

картину чисто военных событий: это уже неоднократно делалось и в эмиграции, и в СССР. Известно, что Добровольческое движение и его основные идеи зародились летом 1917 г. в период Корниловского выступления — неудачной попытки Корнилова захватить власть в свои руки. После провала Корнилов и его единомышленники-генералы — Деникин, Марков, Лукомский и другие — были посажены Временным правительством в тюрьму в г. Быхове, из которой им удалось бежать после Октябрьского переворота. Во время их заключения ген. Алексеев пытался (довольно безуспешно) создать офицерские организации для борьбы с растущим развалом страны и для восстановления патриотических настроений в армии. Его вдохновляли идеи, близкие к идеям Корнилова, и ему сочувствовали многие офицеры, юнкера, кадеты, гимназисты и студенты — то есть представители национально настроенной молодой русской интеллигенции.

Через неделю после «Октября» на Дону, куда съехались будущие вожди Белого движения, на Юге России возникла Добровольческая армия, которую возглавили Алексеев и Корнилов при уча-

---

литературе нет чёткости в этом отношении. В узком смысле понятия Добровольческая армия — лишь одна из воинских частей, сражавшихся наряду с другими «белыми» частями против «красных». «Белой» же армии в собственном смысле этого понятия никогда не существовало. Есть данные предполагать, что называть своих противников «белыми» начали «красные», и это наименование привилось в Добровольческой армии и перешло к другим противобольшевистским армиям лишь впоследствии. Добровольцам кличка «белые» понравилась. В «белом» усмотрели символ рыцарства и чистоты. Кроме того, по всей вероятности, понятием «белые» можно было объединить, хотя бы формально, в одно разнородных противников большевизма.

стии выборного Донского атамана — Каледина. Несмотря на то, что Алексеев и Корнилов, лишенные каких-либо средств, не могли обеспечить людей даже военным обмундированием, к ним на Дон стекались со всей России добровольцы, рискующие быть по пути арестованными и расстрелянными.

В феврале 1918 г. Добровольческая армия, насчитывавшая около 3 000 бойцов, вынуждена была покинуть Дон, на который наступали красные. Армия совершила «Ледяной» поход на Кубань, в невероятно тяжелых условиях сражаясь против хорошо вооруженных и численно превосходивших сил красных. В апреле 1918 г. был в бою убит Верховный главнокомандующий Добровольческой армии генерал Корнилов, — его заменил на этом посту ген. Деникин.

Вернувшись на Дон, освобожденный от большевиков восстанием казаков, армия соединилась с Донскими и Кубанскими казачьими силами, вооружилась и пополнилась численно. В это же время к ней присоединился прекрасно вооруженный и закаленный в боях отряд добровольцев, который полковник Дроздовский привел из Румынии.

Летом 1918 г. генерал Деникин отправился с тридцатипяти тысячной армией во Второй Кубанский поход, освободивший от большевиков весь Северный Кавказ.

В январе 1919 г. были созданы Вооруженные силы Юга России, объединившие войска Дона, Кубани, Терека и Добровольческий корпус под верховным командованием ген. Деникина. Весной 1919 г. Добровольческие части были переброшены с Кавказа на Донбасс и летом начали наступать на Москву — направление Курск — Орел — Тула, — одерживая победу за победой и пополняя свои ря-

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ды большим количеством пленных и новых добровольцев. Отдельные добровольческие воинские соединения действовали и в других частях России: на Украине, в районе Царицына, в Крыму. Но растянутые на огромной линии фронта (от Царицына до Киева) 150 000 белых бойцов не смогли продолжать наступление, несмотря на всю свою доблесть. В течение осени и зимы 1919-1920 года Вооруженные силы Юга России были разгромлены красными, хотя добровольческие части, как правило, отступали в боевом порядке и сохранили значительную боевую силу.

После трагической эвакуации из Новороссийска Добровольческая армия реорганизовалась в Крыму и составила ядро «Русской армии», созданной ген. Врангелем, а именно — ее первый корпус под командованием ген. Кутепова. Большая часть добровольцев, после окончания борьбы в Крыму, эвакуировалась в Турцию, на о. Галлиполи. Впоследствии участники Добровольческого движения разъехались по разным странам российского рассеяния.

Соответственно профилю этой статьи ни о характеристике добровольцев, ни об их военной доблести ниже почти не будет речи, но забывать об их поразительном мужестве не следует, особенно при рассмотрении «темных» сторон добровольчества. Приведем лишь один пример в цифрах: за сорок месяцев Корниловский полк (одно время развернутый в дивизию) потерял 48 002 бойца, из них ранеными — 34 328, убитыми — 13 674...

Эта статья посвящается всем участникам Добровольческого движения и особенно — памяти самого дорогого моему сердцу поручика А. М.

## 1. ВОЖДИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«В больном, беспомощном шестидесятилетнем старике в заношенной, некогда широкополой, а ныне обвисшей грибом, синей шляпе, с повязанной красным фуляром щетинистой, давно не бритой, щекой, в затрепанном неопределенного цвета пальто, с выстеганными по нем нелепыми оранжевыми горошинами, не узнал матросский караул Московского Николаевского вокзала Начальника Штаба величайшей, никогда до того не создававшейся миром, двадцатимиллионной Русской армии, генерала Михаила Васильевича Алексеева.

Обессиленный мучительными приступами неизлечимой болезни, прибыл он в Новочеркасск для того, чтобы здесь приступить к созданию своего последнего земного дела, воспоминание о котором не раз смочит краску жгучего стыда с лица будущего русского человека, преисполнив гордости всякое честное русское сердце, огнем восторга зажжёт глаза юности и научит ее, как надо любить Россию.

Вся Добровольческая армия есть плод безграничной веры генерала М. В. Алексеева в Святыню Земли Русской...»\* (Павлов, I, стр. 43-45).

Ген. *Алексеев* родился в семье сверхсрочно-служащего солдата в 1857 году. В двадцатилетнем возрасте он участвовал в Русско-турецкой войне. Позже окончил Академию генерального штаба, где отличался своей исключительной работоспособностью и широтой военных познаний.

Во время первой мировой войны он — начальник штаба Юго-Западного фронта, в марте 1915 года — Главнокомандующий Северо-Западным фронтом, в августе 1915 — начальник штаба Верховного главнокомандующего (императора Николая II) и фактический руководитель всеми операциями на Австро-Германском фронте. Временное правительство его назначает Верховным главно-

---

\* Полные данные о цитируемых в статье трудах см. в «Списке использованных источников» в конце этой работы. — Р е д.

командующим. Ген. Алексеев — отличный пример того, что в дореволюционной России люди самого «низкого» социального происхождения имели возможность достигать высших государственных или военных постов, благодаря своим личным качествам.

По выражению ген. Головина, Алексеев был «типичным либеральным интеллигентом», сердцу которого «слишком дорога была Великодержавная Единая Россия» (II, 2, стр. 38), чтобы он мог равнодушно смотреть на события октября 1917 г. Несмотря на возраст, болезнь и душевную усталость, «старичок в поблескивающих очках, со слабым голосом» (Туркул, стр. 31) решил (в то время почти один) противостоять всеми своими иссякающими силами врагам своей родины. Уже в мае 1917 г. он обращается к русским офицерам со словами:

«Мы все должны объединиться на одной великой платформе: Россия в опасности. Нам надо, как членам Великой Армии, спасти ее. Пусть эта платформа объединит вас и даст силы к работе» (Головин, I, 1, стр. 90).

Создав Добровольческую армию, бывший Верховный главнокомандующий не искал себе в ней почестей и не претендовал на руководство ею. Сознавая свою немоту, он нашел достойных помощников и довольствовался скромной ролью казначея, носящего с собой везде и всегда маленький чемоданчик — всю кассу Добровольческой армии. Но добровольцы прекрасно сознавали, что их скромный казначей «был живым олицетворением России, армии седых русских орлов, как бы снова вылетающих из казацких степей» (Туркул, стр. 31). Этот «маленький, сухонький генерал в крохотной кубанке» не менее увлекал за собой русских офицеров, студентов и гимназистов, чем волевой, стремительный генерал Корнилов.

Алексеев был монархистом. В июне 1918 г., например, он писал ген. Щербачеву:

«Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии... Как показал продолжительный опыт пережитых событий, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию» (Курганов, «НРС» от 20. 5. 72).

Но монархические убеждения не помешали ген. Алексееву в свое время дать государю Николаю II совет отречься от престола в пользу сына, как и не помешали ему сотрудничать с республиканцем ген. Корниловым и принимать в свою организацию всех людей «доброй воли», верующих в Россию и желающих бороться за нее.

Ген. Алексеев был человеком глубоко религиозным. Протопресвитер Армии и Флота Г. Шавельский пишет о нем:

«В большом государственном человеке мне ни раньше, ни позже не довелось наблюдать такой искренней, горячей веры» (II, стр. 234).

Если ген. Корнилов был волей Добровольческой армии, а ген. Марков — ее порывом, то ген. Алексеев был ее душой, зажигал ее бойцов своим горением и нравственным примером. Перед отходом в неизвестность горстки героев-добровольцев зимой 1918 года ген. Алексеев писал:

«Мы уходим в степи. Можем вернуться, только если будет милость Божия. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы»... (Деникин, II, стр. 223).

Умер ген. Алексеев от тяжелой болезни 8 октября 1918 г., пережив на пять месяцев второго создателя и вдохновителя Добровольческого движения — генерала Корнилова, убитого в бою.

Лавр Георгиевич *Корнилов* родился в 1870 году, в Западной Сибири, в семье отставного хорунжего, волостного писаря. После кадетского корпуса и артиллерийского училища он окончил (первым) Академию генерального штаба.

Корнилов изучает ряд языков Дальнего Востока и Центральной Азии. Во время своей службы в Туркестане он обследует неведомые до тех пор края и описывает Кашгарию в книге «Кашгария или Восточный Туркестан», которая по научной ценности не уступает трудам Пржевальского («Корниловцы», стр. 14).

Переодетый в туркмена, Корнилов пробирается в афганистанскую крепость и фотографирует ее укрепления, рискуя в случае провала быть посаженным на кол.

В Русско-японскую войну его награждают орденом св. Георгия 4-й степени. Во время первой мировой войны он проявляет исключительную храбрость и энергию и быстро продвигается по службе. В апреле 1915 г., защищая отступление своей «Стальной» дивизии, Корнилов попадает в плен. В июне 1916 г. — бежит. Получает орден св. Георгия 3-й степени.

После Февральской революции, по поручению Временного правительства, Корнилов арестовывает Императорскую семью. В марте-апреле 1917 г. он командует Петроградским военным округом, в мае его назначают Командующим армией, а в июне — Командующим Юго-Западным фронтом. В июне же 1917 г. он становится Верховным главнокомандующим.

После неудачного выступления Корнилова в августе 1917 г. и конфликта с Керенским, последний отправляет его вместе с некоторыми другими генералами в Быховскую тюрьму. Освобожденный

после Октябрьского переворота, Корнилов соединился с ген. Алексеевым и вместе с ним возглавил зарождавшуюся на Дону Добровольческую армию. Он стал вождем и повел людей на ту борьбу, к которой призывал ген. Алексеев.

Уже в августе 1917 г. ген. Корнилов

«...смотрел на себя, как на могучий таран, который должен был пробить брешь в заколдованном круге сил, облотивших власть, обезличивших и обескровивших ее. Он должен был очистить эту власть от элементов негосударственных и ненациональных и во всеоружии силы, опирающейся на восстановленную армию, поддержать и провести эту власть до изъяснения народной воли» (Деникин, II, стр. 15).

«Корнилов видел в диктатуре единственный выход из положения, созданного духовной и политической прострацией власти... Формы диктатуры определились... исключительно как мучительное искание наилучшего и наиболее безболезненного разрешения кризиса власти» (Там же, стр. 35).

О политических взглядах Корнилова авторы воспоминаний о Белой борьбе не всегда пишут с надлежащей объективностью. Многие стараются затушевать совершенно явные республиканские взгляды Корнилова. В эмиграции редко вспоминают об одном куплете песни корниловцев, содержащем слова: «...царь нам не кумир...»

Ген. Деникин свидетельствует о том, что если эсер Чернов обвинял Корнилова «в желании задушить свободу и лишить крестьян земли и воли», то митрополит Антоний Киевский упрекал его же в увлечении революционными идеями» (там же, стр. 15). По мнению ген. Деникина, Корнилов,

«...подобно преобладающей массе офицерства и командного состава, был далек и чужд всякого партийного догматизма; по взглядам, убеждениям (он. — А. Е.) примыкал к широким кругам либеральной демократии» (там же).

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Антимонархизм, или по крайней мере антилегитимизм Корнилова явствует из его же собственных слов:

«Не буду поддерживать ни одной политической комбинации, которая имеет целью восстановление дома Романовых, так как считаю, что династия, в лице ее последних представителей, сыграла роковую роль в жизни страны» (Головин, I, 2, стр. 82).

Ген. Головин утверждает, что Корнилов признавал завоевания Февральской революции, был «сторонником передачи земли крестьянам» и считал, что «суверенною властью является власть народа» (Головин, I, 2, стр. 11).

Взгляды Корнилова и Алексеева во многом не сходились, между ними порой были трения, но они находили свое отражение лишь в их ближайшем окружении:

«...Только в этой среде, и то весьма сдержанно, шли разговоры о «демократизме» Корнилова и «монархизме» Алексеева» (Деникин, II, стр. 196).

Но «в глазах добровольчества жизнь сплела эти имена. И Алексеев и Корнилов были необходимы армии» (там же). Для добровольцев Алексеева и Корнилова объединяло их горение в жертвенной борьбе за Россию. В этом отношении призывы их были совершенно тождественны. Алексеев вполне мог бы так же, как Корнилов, написать:

«Все ваши мысли, чувства и силы отдайте Родине, многострадальной России. Живите, дышите только мечтою об ее величии, счастье и славе» («Корниловцы, стр. 12).

И тем не менее, несмотря на всё значение ген. Корнилова в деле зарождения Добровольческого движения, нельзя закрывать глаза на некоторые отрицательные его качества. Его стремление к

диктатуре, например, было отнюдь не только временным политическим приемом: оно вытекало из самой личности ген. Корнилова. Ген. Головин, весьма критически относившийся к некоторым аспектам деятельности Корнилова, пишет, что

«...Корнилов допускал только один путь спасения страстно любимой им Родины, а именно тот, который он сам видит» (I, 2, стр. 9).

В августе 1917 г., считает тот же автор, Корнилов

«...окончательно расчленил Русскую армию на две враждебные части, которые впоследствии будут называться одна Белой, а другая Красной армией» (там же, стр. 42).

Хотя на ген. Корнилове в полной мере лежит ответственность за то, что Добровольческая армия стала в основном «офицерской», что к ней с враждой относились солдаты, нельзя не признать, что Корнилов был именно тем «тараном», который был необходим при ее возникновении. Тем более любопытно свидетельство ген. Лукомского (в тот период близко стоящего к Корнилову) о том, что создание Добровольческой армии на Дону в конце 1917 г. Корнилова мало удовлетворяло, что его тянуло на восток, в Сибирь, на более широкое поле деятельности:

«Работа на Дону ему представлялась работой сравнительно мелкой, местного характера; работа же на востоке — работой крупного, европейского масштаба» («Из ...», стр. 141).

Ген. Корнилов погиб в бою 13 апреля 1918 г., в самом начале Добровольческой борьбы. Не наступи его смерть так рано, Добровольческое движение, вероятно, оказалось бы совсем иным. Но было бы оно лучше или хуже, судить очень трудно...

Среди прочих прозвищ генерала Маркова было и такое: «шпага генерала Корнилова». Как Алексеев и Корнилов, Марков погиб в самом начале Добровольческой борьбы и стал посмертным шефом одной из частей Добровольческой армии — Марковского полка.

Сергей Леонидович Марков родился в 1878 году, в семье простого офицера, прошел через кадетский корпус, артиллерийское училище и блестяще окончил Николаевскую военную академию. Он храбро воюет в Русско-японскую войну. В 1911 году его назначают штатным преподавателем Военной академии. В первую мировую войну он блестяще себя проявляет на штабных и строевых должностях. Награждается орденом св. Георгия и в тридцативосьмилетнем возрасте производится в чин генерала.

Некоторыми своими чертами ген. Марков напоминает Корнилова: та же энергия, та же храбрость, то же обширное общее и военное образование, то же увлечение военной разведкой и военной географией... Но Марков — еще более совершенный и многогранный тип русского военного, чем Корнилов, штабная часть работы которого сопровождалась не одними успехами. Корнилов был человек порыва, Марков — человек инициативы.

Несмотря на свою, в основном, штабную работу, ген. Марков имел «вид партизана, а не штабного» (Павлов, I, стр. 388), одевался неряшливо (даже несколько подчеркнуто): всегда в потрепанной полушине и огромной белой папахе.

Марков, как и ген. Кутепов, совсем иного стиля человек — самый типичный, «чистый» тип добровольческого вождя.

«В его ярко-индивидуальной личности нашел отражение пафос добровольчества, свободного от темного налета наших внутренних немощей, от разъедающего влияния политической борьбы. Марков всецело и безраздельно принадлежал армии», — свидетельствует о нем генерал Деникин.

Молодой, простой, порой даже грубоватый в обращении, он вызывал настоящее обожание со стороны молодых добровольцев. Полностью приняв психологию и стиль добровольчества, Марков всё же не переставал быть вдумчивым и ищущим интеллигентным человеком. Однажды, например, он говорил ген. Деникину:

«Никак не могу решить в уме и сердце вопрос — монархия или республика? Ведь если монархия — лет на десять, а потом новые курбеты, то, пожалуй, не стоит...» (Деникин, II, стр. 93).

Не менее, чем кто-либо другой среди вождей Добровольческого движения, горел ген. Марков любовью к России, но заражать ею он умел, безусловно, лучше всех.

«Легко быть смелым и честным, помня, что смерть лучше позорного существования в оплеванной и униженной России», — говорил он (Павлов, I, стр. 22).

Подполковник Павлов следующим образом схематизирует заветы ген. Маркова:

«любовь к родине подтверждать нужными ей делами;

любя ее «великой, единой, неделимой», не терять веру, что она снова будет такой;

веря в это — верить в народ ее, начиная с самого себя — веры в себя;

армия — единственная сила, могущая спасти родину, поэтому всё для нее, включая самого себя» (там же, стр. 390).

Генерал Марков погиб в сражениях 12 июня 1918 г. во время Второго Кубанского похода.

### Как пишет ген. Деникин, Маркова

«...смерть поразила тогда, когда Добровольческая армия вышла из окружения на широкую дорогу, когда так нужны были люди таланта, воли и доблести; поразила человека, предназначенного, казалось, самой судьбой для командования Добровольческой армией...» (Павлов, I, стр. 389).

Четвертый вождь Добровольческого движения, давший, как Алексеев, Корнилов и Марков, свое имя одной из частей Добровольческой армии, — генерал Дроздовский.

Михаил Гордеевич Дроздовский родился в семье генерала (защитника Севастополя) в 1881 г. Прошел он чисто военное обучение: от кадетского корпуса до Академии генерального штаба. С выдающейся храбростью воевал в Русско-японскую войну. Впоследствии, до и во время первой мировой войны, он состоял на штабных должностях, хотя постоянно рвался в бой и (когда это ему удавалось) проявлял исключительный героизм. За свои боевые подвиги полковник Дроздовский был награжден орденом св. Георгия.

По характеру ген. Дроздовский резко отличался от Корнилова и Маркова. Его храбрость, сила воли и страстная любовь к России не проявлялись открыто. Внешне он скорее производил впечатление хладнокровного, расчетливого человека. Он был скорее организатором, чем вождем, что, однако, не мешало людям горячо к нему привязываться:

«Наш командир, пишет один из его сподвижников, был живым средоточием нашей веры в совершенную правду нашей борьбы за Россию» (Туркул, стр. 45).

Ген. Дроздовский, единственный из всех добровольческих вождей, пришел на Дон не один и не переодетый в штатское, а во главе отряда, по

силе и численности равного всей тогдашней Добровольческой армии, вернувшейся из Первого Кубанского похода. Свой отряд он сам сформировал и лично довел до цели в невероятно тяжелых условиях.

«Нервный, худой полковник Дроздовский был типом воина-аскета: он не пил, не курил и не обращал внимания на блага жизни; всегда — от Ясс и до смерти — в одном и том же поношеном френче, с потертой ленточкой в петлице... Всегда занятой, всегда в движении. Трудно было понять, когда он находит время даже есть и спать» (Кравченко, стр. 20).

Дроздовский очень просто и правдиво пишет о тех побуждениях, которые его толкнули на подвиг во имя России:

«Честолюбие для меня слишком мелко, прежде всего я люблю свою родину и хотел бы ей величия. Ее унижение — унижение и для меня, над этими чувствами я не властен и, пока есть хоть какие-нибудь мечты об улучшении, я должен постараться сделать что-нибудь: не покидают того, кого любишь, в минуту несчастья, унижения и отчаяния» (стр. 192).

Как и прочие вожди Добровольчества, ген. Дроздовский не был реставратором, мечтавшим о восстановлении всего прошлого. Он отчетливо видел, например, недостатки старой армии:

«Великая русская армия, пишет он, погибла от того, что старшие начальники не хотели слушать неприятной правды, оказывая доверие только тем, в чьих устах было всё благополучно, и удаляли и затирали тех, кто имел смелость открыто говорить» (там же, стр. 174-175).

«...Я никогда не был поклонником режима произвола и беззакония, пишет Дроздовский в другом месте, на переворот (Февральский. — А. Е.) смотрел как на опасную и тяжелую, но неизбежную операцию» (там же, стр. 25).

Даже к своей деятельности во главе добровольческой части Дроздовский относился с удивительной трезвостью:

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«А в общем, страшная вещь гражданская война; какое озверение вносит в нравы, какую смертельною злобой и местью пропитывает сердца; жутки наши жестокие расправы, жутка та радость, то упоение убийством, которое не чуждо многим из добровольцев. Сердце мое мучается, но разум требует жестокости» (там же, стр. 83).

«Обрекающий и обреченный» — так себя однажды назвал ген. Дроздовский. Смерть от ранения в боях настигла его 1 января 1919 г.

В воскресенье 26 января 1930 г., в одиннадцатом часу утра, по дороге в церковь, был похищен в Париже советскими агентами генерал Кутепов.

Александр Павлович *Кутепов* родился в 1882 г. в семье лесничего, в Новгородской губернии. Хотя семья его была не военной, с раннего детства мечтал он о военной службе.

В 1904 году, после окончания юнкерского училища, Кутепов добился своей отправки на фронт, на Дальний Восток.

По окончании войны поручик Кутепов переводится в лейб-гвардии Преображенский полк и назначается в его учебную команду. Вся дальнейшая служба Кутепова в предвоенные и военные годы протекает в старейшем русском Преображенском полку. Во время первой мировой войны он был трижды ранен и награжден орденом св. Георгия.

2 декабря 1917 г. тридцатипятилетний полковник Кутепов, последний командир Преображенского полка, был принужден подписать приказ о его расформировании.

Кутепов откликается на призыв ген. Алексева, участвует в Первом Кубанском походе, служит в Марковском полку, командует Корниловским полком. Во второй половине 1918 г. он назначается Черноморским военным губернатором и водворяет

в своей «Кутепии» полный порядок. С января 1919 г., произведенный в генералы за свои боевые отличия, он назначается командующим 1 армейского добровольческого корпуса, ведет его со славой до Курска и разделяет с ним горечь поражения... Дальнейший путь Кутепова в Добровольческом движении выходит за рамки нашего исследования, но надо сказать, что он был лишь путем непрерывной и бескомпромиссной борьбы на родине (вместе с генералом Врангелем) и за границей, во главе боевых офицерских организаций Русского Обще-Воинского Союза, вплоть до похищения ген. Кутепова.

Наиболее яркими качествами ген. Кутепова были твердость в убеждениях и делах, хладнокровная храбрость, выдержка и умение не терять головы в любых обстоятельствах. Он был исключительно требовательным к себе, и к другим.

«Дисциплине, пишет о нем М. Критский, Александр Петрович придавал огромное значение.

— При внешней дисциплинированности создается и внутренняя выдержка, а ее-то больше всего не хватает у русского человека при всей его талантливости, — часто говорил А. П.

Но чтобы иметь не только формальное, но и нравственное право предъявлять требования к своим подчиненным, А. П. прежде всего был требователен к самому себе. Неустанно работал над собою, обуздывал свою страстную натуру и всегда держал себя в руках. Продолжал, как в детстве, вставать по ночам и переламывать свой сон» (Ген. Кутепов, стр. 20).

Умение не терять головы и власти над собой в самых трудных ситуациях особенно пригодилось Кутепову в двух наиболее трудных моментах жизни добровольцев на Юге России: во время катастрофической эвакуации из Новороссийска в Крым и затем на чужбине, в Галлиполи. Эти качества резко отличали Кутепова от других храб-

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

рых, но неуравновешенных и морально нестойких добровольческих вождей, как, например, генерал Май-Маевский и Слащев (см. напр., Штейфон, стр. 49).

Твердость характера не мешала Кутепову оставаться всегда чутким и доброжелательным к подчиненным. Еще в Преображенском полку Кутепов

«...никогда не унижал в солдате его человеческого достоинства. Того же требовал от своих подчиненных»... По воскресным и праздничным дням (поручник Кутепов. — А. Е.) водил своих солдат в театры, музеи, картинные галереи, показывал все достопримечательности столицы, рассказывал и объяснял всё, что смотрели. Тщательно подготавливался к этим прогулкам» («Генерал Кутепов», стр. 21-22).

Будучи Черноморским губернатором, «с начальником своей канцелярии А. П. постоянно воевал, когда тот давал ему на подпись заготовленные бумаги, налагающие на население разного рода денежные взыскания.

— Нельзя же так формально относиться к делу, — говорил А. П., — ведь вы тянете с разоренных людей... Надо быть прежде всего человеком, а не чиновником» (там же, стр. 74).

Особенную твердость проявлял Кутепов по отношению к грабителям и погромщикам: им было не миновать военно-полевого суда и расстрела, каковы бы ни были их заслуги в рядах Добровольческой армии.

«А. П. понимал всю опасность антисемитизма и с ним всегда решительно боролся.

— Сегодня громят евреев, а завтра те же лица будут громить кого угодно другого, — как-то раз сказал А. П.» (там же, стр. 84).

Так же решительно Кутепов боролся «с злоупотреблениями власти на местах», вплоть до отдачи виновных под военный суд (там же, стр. 104).

Политические взгляды ген. Кутепова логично вытекали из свойств его характера:

«Будучи сам в смысле принципов своего рода монолитом, он не мог понять, что люди, еще вчера занимавшие видные места, носившие чины и украшенные орденами, могли так резко измениться...

Сам он, каким был при производстве в офицеры, когда присягал служить верой и правдой Царю и Отечеству, таким и оставался до конца» (там же, стр. 196).

Но монархизм Кутепова отнюдь не был связан с политической нетерпимостью к инакомыслящим:

«Он часто говорил:

— Да, я не мыслю Россию могучей и счастливой иначе, как под скипетром своего законного Царя, но я готов служить России при любом режиме, лишь бы во главе правительства стояли не прислужники интернационала, а люди, ставящие себе задачей национальное возрождение России.

— Нужно, — говорил он, — прежде всего спасти Россию, которая истекает кровью и гибнет. Это первейшая и главнейшая задача; а когда это будет сделано, остальное придет в свое время» (там же, стр. 197).

Генерал Деникин возглавлял Добровольческую армию с момента смерти Корнилова (13 апреля 1918 г.) до 4 апреля 1920 г., дня передачи командования генералу Врангелю. Он вершил судьбами Добровольческого движения в период его наибольших успехов, но также и его страшного поражения зимой 1919 г. Совершенно ясно, что оценка личности и идей ген. Деникина чрезвычайно важна для понимания того дела, которым он руководил два года.

Антон Иванович Деникин родился в 1872 г. в семье бывшего крепостного крестьянина, дослужившегося до чина майора. Детство и юность он провел в большой нужде: ему приходилось, например, работать репетитором, чтобы иметь возможность окончить реальное училище. Он поступил в

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Киевское военное училище, а в 1899 г. окончил Академию генерального штаба. В Русско-японскую войну он был произведен в полковники.

Во время первой мировой войны Деникин командовал знаменитой Железной дивизией и за взятие Луцка получил чин генерал-лейтенанта. Он был кавалером ордена св. Георгия 4-й и 3-й степени и имел Георгиевское оружие.

В 1917 г. Деникин командовал Западным и Юго-Западным фронтами. В должности начальника штаба Верховного главнокомандующего он был арестован по распоряжению Временного правительства за причастность к выступлению ген. Корнилова.

Из Быховской тюрьмы ген. Деникин пробрался на Дон, где стал ближайшим помощником генералов Алексева и Корнилова и участником Добровольческого движения с самого его зарождения. После смерти Корнилова, по просьбе ген. Алексева, Деникин принял на себя командование Добровольческой армией.

В 1918-1920 гг. Деникин был уже человеком немолодым. Внешность его была не весьма представительная: полный, невысокого роста, вида скорее «интеллигентского», чем «офицерского». К нуждам и чаяниям добровольцев ген. Деникин был чрезвычайно чуток, они же в нем видели «настоящего солдата, строгого к себе, жизнью своей дававшего пример невзыскательности» (Врангель, I, стр. 135). В то время, когда добровольцы на фронте боролись в тяжелых условиях и нуждались решительно во всем, ген. Деникин в тылу также вел нищенское существование, довольствуясь положенным ему очень небольшим жалованием, и навлекал на себя нелюбовь большей части своего тылового окружения, которое он принуждал к такому же образу жизни (Шавельский, II, стр. 326-327).

Духовная связь между добровольцами и их вождем отчетливо чувствуется в воспоминаниях рядовых добровольцев, несмотря на то, что им и тогда (а тем более после окончания гражданской войны) были ясны ошибки и ограниченность их командующего. Даже во время страшной Новороссийской эвакуации большинство добровольцев с гневом отвергали попытки отстранить от власти ген. Деникина, которые исходили от некоторых недовольных им вождей Добровольческого движения. Эта духовная связь была обоюдной: как Деникин относился к настроениям добровольцев, так и они — к его водительству. В этом явлении, пожалуй, и кроется основная причина того, что «вождь Белого Движения не смог подняться над уровнем той толпы, которая выдвинула его наверх» (Головин, V, 1, стр. 20).

Ген. Деникин был самым типичным интеллигентом среди вождей добровольчества. Он обладал всеми качествами национально настроенной интеллигенции — глубокой религиозностью (Деникин, II, стр. 314), верностью национальной идее и чуткостью совести. В своих воспоминаниях, например, он писал:

«Пусть правда вскрывает наши зловонные раны, не давая заснуть совести, и тем побудит нас к раскаянию более глубокому и к внутреннему перерождению более полному и искреннему» (IV, стр. 95).

Но обладая достоинствами русского интеллигента, Деникин обладал и многими недостатками его: припадками паралича воли, нетерпимостью к инакомыслящим, увлечением не всегда достойными людьми, стремлением к «кружковщине»...

Эти отрицательные качества ген. Деникина, к сожалению, сильнее отразились на ходе исторических событий, чем положительные.

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В Добровольческой армии, как пишет генерал Головин,

«...решение всех политических вопросов сосредоточивалось, как в фокусе, в личности самого Деникина. От его государственного мировоззрения всецело зависело, по каким путям пойдет... Белое Движение» (V, 1, стр. 102).

Политические идеи Деникина — по сути дела политические идеи всей Добровольческой армии; мы о них скажем позже. Пока достаточно указать, что у Деникина

«...было в начале революции искреннее ее приятие и в некоторых отношениях даже ее идеализация» (там же, I, 1, стр. 122), что он считал «одинаково возможным честно служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский в своей массе желает той или иной власти» (Добрынин, стр. 99), и что он «являлся ярким выразителем идеи немедленного восстановления единства России в прежней форме унитарного и централизованного государства» (Головин, V, 1, стр. 74).

Подводя итоги краткого обзора личностей и идей главных вождей Добровольческого движения, следует подчеркнуть, что в основном они все являлись типичными представителями «русского военного ренессанса» начала XX века, людьми образованными, храбрыми и честными. Все, кроме Дроздовского, были скромного социального происхождения. Все достигли высоких чинов и должностей только благодаря своим выдающимся способностям и пристрастию к военному делу. Все они приняли Февральскую революцию, а некоторые из них даже активно в ней участвовали. Все были готовы служить национальной России, какой бы ни был в ней государственный строй, несмотря на свои различные — монархические и республиканские — симпатии.

## 2. ДОБРОВОЛЬЦЫ

Казалось бы, за вождями Добровольческого движения должны были пойти все те слои русского общества, которые не приняли большевистского переворота. По словам ген. Деникина,

«...за Корниловым... стояли буржуазия, либеральная демократия и то безличное море обывательщины, по которой больно ударили и громы самодержавия и молнии революции и которая хотела только покоя» (II, стр. 24).

### Генерал Головин делит сторонников

«...контрреволюции на три категории: реставраторы, националисты и демократы, которые хотят остановить процесс на уровне, позволяющем практическое развитие их идей (I, 1, стр. 8-9).

Либеральная интеллигенция, считает тот же автор,

«...будучи всегда государственно настроенной, несмотря на свою малую приспособленность к борьбе, силой самой жизни выделила из себя те наиболее действенные соки, в которых и начался бродильный процесс, создавший первые противодействующие разрушительной стихии революции силы» (там же, I, 1, стр. 9).

Эти силы в основном составляло молодое русское офицерство военного времени. Бóльшей частью 2 500 участников героического Первого Кубанского («Ледяного») похода в начале 1918 года было

«...юношество, горевшее любовью к родине, мечтавшее положить свою жизнь за ее возрождение и отомстить предателям и насильникам за разрушение России и за поруганные идеалы» (Штейфон, стр. 44).

Молодость (а порой почти детский и юношеский возраст) — чрезвычайно важная характерная черта участников Добровольческой армии. Она обуславливает целый ряд как положительных (от-

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

вага, пыл, преданность идеям и вождям), так и отрицательных качеств добровольцев. Молодыми в Добровольческой армии были не только рядовые и поручики, но и полковники, и генералы; и это положение во многом способствовало созданию того особого характера (порою разнузданного рыцарства), которым отличались коренные — «цветные» — полки этой армии.

Как замечает ген. Штейфон,

«...молодой, в своей массе, командный состав, офицерское мировоззрение которого сформировалось не в нормальных условиях мирного времени, а в обстановке более примитивных требований войны, на многое смотрел снисходительно» (там же).

В советской исторической литературе принято утверждать, что офицерство, составлявшее костяк Добровольческой армии, — сплошные отпрыски дворян и буржуазии, унаследовавшие от отцов классовые понятия и предрассудки.

Если в какой-то (ограниченной) мере такое суждение не лишено оснований в отношении офицерства довоенного времени, то оно совершенно голословно в отношении огромного большинства тех 250 000 офицеров, которых русская регулярная армия насчитывала осенью 1917 года.

Из 1 000 прапорщиков, прошедших в 1915-1916 гг. школу, организованную ген. Головиным, 700 человек было крестьянского происхождения и всего 40 — дворянского (Головин, I, 1, стр. 85).

«Во время войны офицерский состав всё более и более забирал в себя всю молодежь русской интеллигенции и, теряя свой прежний профессиональный облик, приобретал всё более облик русского интеллигента» (там же).

Ген. Деникин называет рядовое офицерство Добровольческой армии «элементом чисто служи-

лым, типичным интеллигентским пролетариатом» (IV, стр. 208).

«Офицер военного времени, пишет ген. Головин, был несравненно более демократичным по своим убеждениям и привычкам и более подходил к типу прежнего студента, нежели к типу офицера-профессионала» (III, 1, стр. 89).

Конечно, из этой массы офицеров-интеллигентов не все пошли в Добровольческую армию. Ее ряды пополнялись лишь патриотически настроенными молодыми интеллигентами: остальные же держались в стороне от борьбы (и часто против своей воли в конечном итоге попадали в Красную армию или устраивались в тылу).

Именно истинная «интеллигентность» русского типа, то есть способность ставить служение идее выше служения своим собственным (личным или классовым) интересам, и определяла необычайную высоту подвигов добровольцев.

«Плохо или вовсе необмундированные, часто без достаточного снаряжения, зачастую голодные, без каких-либо личных перспектив в смысле повышения по службе в результате совершения даже выдающегося подвига, не имевшие никакой гарантии, что в случае смерти жена и дети не окажутся на улице, принужденные в случае ранения в сражении и возможности плена кончить жизнь самоубийством из-за основательной боязни пыток — люди были поставлены в положение всё отдающих и ничего не получающих, ничего не требующих. Обычное, каждодневное выполнение долга в этих условиях уже само по себе было подвигом» (Цуриков, стр. 27-28).

Несмотря на то, что четыре года войны и революции «обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения все их сильные и все их низменные стороны, ...вторые не были отнюдь преобладающими: история отметит тот важный... факт, как на почве кровавых извращений революции, обывательской тины и интеллигентского маразма могло вырасти такое полноценное явление, как добровольчество, при всех теневых сто-

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ронах сохранившее героический образ и национальную идею» (Деникин, II, стр. 205).

Офицерство в своей массе пошло за революцией, пока оно было уверено, что она «национальна и имеет главной целью расчистить пути к победе над немцами» (Головин, I, 2, стр. 133). Но эта уверенность очень быстро заменилась растущим недоверием: фронт разваливался, государственная власть расшатывалась...

«Поведение Керенского в дни Корниловского выступления довело озлобление, накапливавшееся в офицерстве против «революционной демократии», до высшей степени и прочно закрепило его... В этом озлоблении и недоверии к «революционной демократии» скажется в значительной мере то разочарование, которое испытал офицерский состав к самой революции» (там же).

«Появился новый термин — «корниловцы»... (он. — А. Е.) выражал собою, во всяком случае, резкий протест против существовавшего режима и против всего того комплекса явлений, который получил наименование «керенщины» (Деникин, II, стр. 81-82). ...Офицерство больно почувствовало тогда, что его бросила морально часть командного состава, грубо оттолкнула социалистическая демократия и боязливо отвернулась от него либеральная» (там же, стр. 84).

Как отмечает ген. Головин, с момента попытки захвата власти Корниловым в августе 1917 г. и роли социалиста Керенского в ее провале в

«...массовом офицерстве навсегда закрепилось убеждение, что всякий социалист, крайний или умеренный, должен быть в конце концов «предателем отечества» (1, 2, стр. 134).

При таких настроениях смелые и простые призывы Алексеева и Корнилова не могли не привлекать значительную часть патриотически мыслящих офицеров. Поэтому «офицеры, юнкера, кадеты и очень немного старых солдат» шли, «не имея никакого представления о том, что их ожидает»,

на Дон через большевистские кордоны, с опасностью для жизни и среди общего равнодушия обывателей к их идеалам... (Деникин, II, стр. 157).

Конечно, не одни идеалы толкали офицерство на тернистый путь добровольческой борьбы. Как замечает в своих воспоминаниях рядовой участник Добровольческого движения:

«...Офицер тоже человек, ...так же хочет жить, как и все, и имеет на это больше прав, так как больше и сознательнее любит Родину..., офицерство... не дало зарезать себя, а решило умереть с оружием в руках, как подобает каждому храброму офицеру» (Попов, стр. 233).

В эпоху почти всеобщей разрухи приверженность офицерства к утрачиваемой государственности и к национальной идее не могла не быть причиной и условием его обособления среди прочих социальных группировок России. Поэтому

«...Добровольческая армия с самого начала приобрела характер «офицерской части», то есть явилась ополчением «патриотически настроенной интеллигентной молодежи», морально оторванным от масс» (Головин, 1, 2, стр. 23).

Оторванной Добровольческая армия оказалась не только от «масс», но и от привилегированных слоев общества. Зимой 1917-1918 гг., например, добровольцы

«...дрались на подступах к Ростову, зная, что сотни тысяч казаков и ростовской буржуазии за их спиной живут легко и привольно. Они были оборваны, мёрзли и голодали, видя, как беснуется и веселится богатейший Ростов» (Деникин, II, стр. 205).

Как пишет ген. Деникин в другом месте своих «Очерков...»: «...всенародное ополчение не вышло. В силу создавшихся условий комплектования, армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретаая характер *классовый*. Нет нужды, что руководители ее вышли из народа, что всё движение было чуждо социальных элементов борьбы, что официальный символ веры армии носил все признаки государственности,

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

демократичности и доброжелательства к местным областным образованиям» (там же, стр. 199).

Если гонения сковали в офицерстве «наиболее действенные элементы» и увеличили тем самым его «силу притяжения», по тем же причинам «сила отталкивания офицерской среды от неоднородных элементов значительно возросла и офицерство приобрело теперь обособленность социальной группировки» (Головин, I, 2, стр. 132-133).

Несмотря на то, что Добровольческая армия, казалось бы, выражала желания и отражала идеалы всего русского офицерства, в нее поступил лишь малый процент от общего количества русских офицеров. Только незначительная часть, например, офицеров тайных организаций ген. Алексеева в Москве и Петрограде поехала на Дон (Павлов, I, стр. 28). Причин этому много.

При первой возможности, конечно, армию покидали офицеры, наиболее слабые духом. В 1917 и 1918 гг. им это сделать было особенно легко. А покинув регулярную армию, такие люди отнюдь не стремились в новые военные части, где от них требовалось «не просто исполнение долга, а нечто большее — подвига лишений, тяжелого, для многих непосильного труда» (Деникин, V, стр. 59).

Другие офицеры считали, что «русский офицер призван защищать границы своего государства, а не честь отдельных генералов» (Павлов, I, стр. 102). Некоторые не поступали из-за опасений политического характера:

«Послужить я за Россию согласен, — записывает в свой дневник один колеблющийся доброволец, — но только не за старореакционную; если увижу, что дело будет клониться к тому, то до свидания» («Дневник обывателя», стр. 260).

Большинство же колебавшихся говорило «до свидания», не производя никаких экспериментов.

Многих офицеров, особенно старшего поколения, отталкивали от добровольческих частей их специфические черты: молодость состава, право действовать «по личному усмотрению», непривычная форма...

Большую отрицательную роль сыграла также унижительная процедура регистрации в Добровольческую армию: она обижала офицеров, так как к ним относились с подозрением (Штейфон, стр. 59). Особенно же недоверчиво относились в ставке к офицерам, боровшимся в украинских самостоятельных частях: они обязаны были проходить «реабилитационную комиссию» (Врангель, I, стр. 118). Еще хуже обстояло дело в отношении офицеров, волею или неволею попадавших в Красную армию: вначале их зачастую просто расстреливали.

Не все русские офицеры поступили в Добровольческую армию, но в ее составе оказалось значительное число не офицеров. Основные добровольческие части переплавляли «разнородный элемент в горниле своих боевых традиций» (Деникин, IV, стр. 83). В конце гражданской войны даже в «офицерских» полках было около 90% солдат.

Части Добровольческой армии получали самое разнообразное пополнение. Значительным элементом были студенты, в большом количестве шедшие в добровольцы. В январе 1918 г., например, после разговора с офицерами, 180 человек из Ростовского коммерческого училища записались в армию, составив в ней особый, «студенческий», батальон (Павлов, I, стр. 66-67). Пополнялась Белая армия и немалым числом рабочих. Самый известный пример массового перехода их к добровольцам — это рабочие Воткинского и Ижевского уральских заводов. В августе 1918 г. «ижевские фронтовики» издали, например, глубоко патриотическое воззвание, в котором были и такие строки:

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«Мы стоим крепкой стеной на защите наших общих интересов, защите наших родных городов, сел и деревень от нашествия варварских большевистских банд..., покажите, что вы не рабы и умеете сознательно защищать свое правое дело» (Головин, III, 2, стр. 129).

Ижевские и воткинские рабочие, составив отдельную бригаду, героически сражались в рядах белых до самого конца на востоке и проделали, с оружием в руках, путь от Урала до Тихого океана...

Рабочие входили также в состав добровольческих частей Юга России. В Донбассе, например, Марковский полк пополнялся шахтерами, пришедшими в армию благодаря содействию местной эсеровской организации (Павлов, II, стр. 14).

В Добровольческой армии было много и нерусских: в ряде источников упоминаются добровольцы сербы, латыши, поляки, евреи, кавказские народности, туркмены и представители других национальностей.

«Добровольческая армия перемолола в себе до конца расовые и племенные расхождения», — констатирует подполковник В. Е. Павлов (I, стр. 319).

«Известно, что плечом к плечу с офицером и студентом ходили в атаки в наших цепях гимназисты, реалисты, кадеты — дети Добровольческой Армии.

Подростки, дети русской интеллигенции, поголовно всюду отзывались на наш призыв. Я помню, как, например, в Мариуполе к нам в строй пришли почти полностью все старшие классы местных гимназий и училищ. Они убегали к нам от матерей и отцов. Они уходили за нами, когда мы оставляли города. Кадеты пробирались к нам со всей России.

Русское юношество, без сомнения, отдало Белой армии всю свою любовь, и сама Добровольческая Армия есть прекрасный образ русской юности, восставшей за Россию» (Туркул, стр. 55).

«В Севске, как всюду, куда мы приходили, нас встречали с радушием. Но, кажется, только молодежь, самая

зеленая, гимназисты и реалисты с горячими глазами, чувствовала, как и мы, что и тьма и смерть уже надвинулись со всех сторон на безмятежное житье, на старый дом отцов — Россию. Русская молодежь всюду и поднималась с нами. Так и здесь: несколько сот севских добровольцев» (там же, стр. 117).

«Сотни тысяч взрослых, здоровых, больших людей не отозвались, не тронулись, не пошли... А русский мальчуган пошел в огонь за всех. Он чуял, что у нас правда и честь, что с нами русская святыня. Вся будущая Россия пришла к нам, потому что именно они, добровольцы — эти школьники, гимназисты, кадеты, реалисты должны были стать творящей Россией, следующей за нами. Вся будущая Россия защищалась под нашими знаменами; она поняла, что советские насильники готовят ей смертельный удар.

Бедняки-офицеры, романтические штабс-капитаны и поручики, и эти мальчишки-добровольцы, хотел бы я знать, каких таких «помещиков и фабрикантов» они защищали? Они защищали Россию, свободного человека в России и человеческое русское будущее. Потому-то честная русская юность — всё русское будущее — вся была с нами» (там же, стр. 61).

По мере развития борьбы и численного роста Добровольческой армии, всё возрастал в ней процент бывших пленных красноармейцев.

«В Белозерском полку солдатский состав на 80-90% состоял из пленных красноармейцев, которые служили раньше у большевиков, а затем, при отходе, сбежали... Они воевали прекрасно... Всегда чувствовалось, что большевизм захлестнул их только внешне и не оставил заметных следов на их духовной сущности» (Штейфон, стр. 78).

«Полковник Дроздовский, первый из начальников, который стал ставить в ряды добровольцев взятых в плен красноармейцев. Он первый сформировал даже чисто солдатский батальон... Этот батальон уже через пять суток блестяще оправдал себя. Среди его состава не было старых солдат из дивизии Дроздовского, а одни заводские парни, чернорабочие, крестьяне и красноармейцы... Они все радовались плену и уверяли своих командиров — офицеров из Дроздовского офицерского полка, — что со-

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ветчина со всей комиссарской сворой им осточертела, и они, только попав в новую среду, в среду добровольцев, поняли, где есть правда» (Кравченко, стр. 152-153).

Одно время четвертой ротой Дроздовского полка командовал капитан Иванов, который, как пишет ген. Туркул,

«...пополнял ее исключительно из пленных красноармейцев. В то время как у нас целые полки приходилось набирать из одних офицеров и в любой другой роте их было не менее полусотни, у капитана Иванова все до одного взводы были солдатские, и ротный командный состав тоже солдатский из тех же пленных (стр. 90). ...Каждый наш солдат, каждый стрелок, вспоминает тот же автор, хотя бы из вчерашних пленных или из матросов, каждый, в ком дышала верная и светлая человеческая душа, вскоре же, можно сказать, преображался, чувствуя нашу боевую силу, вдохновенную верой в Россию, нашу человеческую правду. Они гордились быть дроздовцами. Они с честью носили в огне наши малиновые погоны, тысячи их увенчаны венцом страдания в наших белых рядах, и все, кто мог, ушли с нами в изгнание» (там же, стр. 255).

Весьма характерным примером «разношерстности» добровольческих частей может послужить состав 3-й легкогаубичной (Дроздовской) батареи в 1919 году:

«Юнкер Сергиевского артиллерийского училища, два кадета, два студента — один из Петербурга, другой из Харькова, два пленных красноармейца — из мобилизованных большевиками пермяков, взятые в плен в январских боях, два ставропольских хуторянина из иногородних и два кубанских казака» (Кравченко, стр. 231).

Конечно, этот пример не типичен для всех частей Добровольческой армии, в которых все-таки значительно преобладал военный и интеллигентский элемент. Но все упомянутые выше свидетельства разных людей говорят о том, что мнение о добровольчестве как о классовом явлении весьма произвольно.

### 3. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ЯВЛЕНИЕ

Добровольческие войска Юга России начали свое формирование в конце 1917 г. на условиях полной добровольности. При записи люди обязывались служить в рядах армии всего четыре месяца, во время службы им полагалось жалование в зависимости от чина, но совершенно нищенское — как для рядового, так и для генерала.

К концу 1918 г. служба для офицеров моложе сорока лет стала формально обязательной; с этого же времени стала широко применяться мобилизация на территориях, занятых Добровольческой армией. По словам ген. Деникина,

«...с конца 1918 г. институт добровольчества окончательно уходит в область истории, и добровольческие армии Юга становятся *народными*, поскольку интеллектуальное преобладание казачьего и служилого элемента не наложило на них *внешне* классового отпечатка» (IV, стр. 84).

Несмотря на изменение основ комплектования и несмотря на вышеприведенные слова ген. Деникина, основные (неказачьи) части войск Юга России продолжали носить наименование добровольческих и объединялись в Добровольческую армию. Лишь 28 апреля 1920 года Добровольческая армия была официально переименована генералом Врангелем в Русскую армию (Врангель, II, стр. 51).

По сути дела, Добровольческая армия на протяжении всей своей борьбы изменялась в основном лишь внешне: она и в 1918 и в 1920 гг. горела тем же внутренним огнем и страдала теми же недостатками.

Определить точно специфику «добровольчества» Добровольческой армии не так уж просто; под этим термином люди подразумевали в разные времена разное: то организацию войск, то способ их комплектования, то отношение к дореволю-

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ционной армии и России или к национальному вопросу. Нам же кажется, что специфика «добровольчества» выявляет себя главным образом в двух областях: в боевой жизни коренных добровольческих частей и в отношениях между добровольцами и их начальниками-вождями. Этими двумя вопросами мы займемся потом. Пока же прислушаемся к общим суждениям самих добровольцев о Добровольческой армии и добровольчестве.

В первую очередь поражает почти единогласное осуждение добровольчества как явления его бывшими начальниками. Ген. Штейфон, например, пишет, что

«...несмотря на яркое горение добровольческой души, добровольчество являлось всё же историческим эпизодом, а трагедия нашего командования и заключалась в том, что исторический эпизод оно восприняло, как эпоху» (стр. 4).

Ту же мысль, почти дословно, повторяет ген. Головин (он, правда, не был добровольческим вождем), добавляя при этом, что

«...героическому духу дана была несоответствующая масштабу борьбы форма. И не подлежит сомнению, что если добровольчество, как дух, было бы введено в форму регулярства, как системы, исход борьбы на Юге России был бы иным» (V, 1, стр. 51). Для ген. Штейфона «многовековой богатейший опыт Императорской армии был забыт необыкновенно быстро. В итоге получилось сильнейшее искажение почти всех политических и организационных принципов» (стр. 104).

В организационном отношении «самой роковой по последствиям ошибкой явилось то обстоятельство, что армия не усиливалась соответственно уширению масштаба борьбы» (там же, стр. 107).

В политическом же плане, «в 1919 году мы внезапно забыли истину, что настоящее будет жизненное лишь тогда, когда является логической и исторической связью между прошлым и будущим. Несмотря на величайшее горение духа, добровольчество, как государственная система, не имело органических связей с прошлым и не мог-

ло рассчитывать на успех в будущем... Мы забыли о регулярстве, завещанном нам Петром Великим. Забыли, и жестоко за это поплатились» (там же, стр. 130-131).

В апреле 1920 г. ген. Врангель упрекал руководство Добровольческой армии в нежелании прислушаться к мнениям, расходящимся с основной «добровольческой линией»:

«Вместо того, чтобы объединить все силы, поставившие себе целью борьбу с большевиками и коммуной и проводить одну политику, «русскую», вне всяких партий, проводилась политика «добровольческая», какая-то частная политика, руководители которой видели во всем том, что не носило на себе печать «добровольцев» — врагов России... В итоге, провозгласив единую, великую и неделимую Россию, пришли к тому, что разъединили все антибольшевицкие русские силы и разделили всю Россию на целый ряд враждующих между собой образований» (II, стр. 43).

В нежелании прислушаться к критике, но на сей раз в чисто военном отношении, упрекает высшее руководство Добровольческой армии и ген. Дроздовский в сентябре 1918 года: он считал, что из-за нежелания слушать «неприятную правду» Добровольческая армия может потерпеть крушение (стр. 174-175).

Добровольчество упрекали также различные авторы-добровольцы во многих других, более частных грехах (мы этим вопросом займемся ниже).

В какой мере можно принять упреки генералов Штейфона, Врангеля и Головина? Нам кажется, что Добровольческая армия была только тем, чем она не могла не быть — армией патриотически настроенной молодой интеллигенции, и что настроения и идеи в ней определялись не ее высшим руководством, а рядовыми членами. Молодежи всегда и повсюду присуще облекать традиционные идеи и привычные социальные структуры в новые формы. Если бы против большевиков сражались

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

старые русские полки, овеванные исторической традицией, но и обремененные старым командным составом и своими многочисленными недостатками, которые привели к глубокому кризису в армии, а может быть, и к гибели России (как, пожалуй, думает Солженицын), кто бы в них сражался, кроме незначительной верной долгу и традиции части их командного состава? Разве пошли бы пополнять такие полки студенты, пленные красноармейцы, рабочие? Мыслимы ли в «регулярстве» рабочие дивизии и студенческие батальоны?

Нельзя вливать новое вино в старые мехи, а добровольческие части, добровольческое горение были именно той свежей жизненной энергией, которой могла бы жить будущая Россия. Добровольцам нужна была великая Россия, каждый из них обладал силой умереть за нее, но эта сила была для них связана с идеей добровольчества, с теорией и практикой «доброй воли». Когда изменило казачество, развалилось «регулярство» адмирала Колчака и выродились в бандитские шайки войска сибирских атаманов, добровольцы продолжали безумную, казалось бы, борьбу именно в силу того, что она была облечена в формы, ими самими выработанные, велась во имя их — добровольческих — идеалов и руководилась их — добровольческими — вождями.

Следует удивляться не тому, что Добровольческая армия была побеждена, а тому, что она смогла так долго победоносно нести знамя национальной России. В этой статье не место разбирать чисто военные и общеполитические вопросы времен гражданской войны, но мы позволим себе высказать глубокое убеждение в том, что причины окончательного поражения добровольцев зависели в основном не от них самих, а от целого ряда внутрироссийских и международных условий, кото-

рые они всё равно не смогли бы преодолеть, каковы бы ни были их старания. Только изменение этих условий, от них не зависящих, смогло бы обеспечить их победу.

Добровольческая армия была молодой стихийной силой. В 1919 г., например, она *хотела* наступления и *наступала*, «и ее стихийное движение на Харьков должно было увлечь и генерала Деникина и его штаб» (Штейфон, стр. 62).

Эта стихийность — не только характерная черта всей армии, но и очень важная характерная черта добровольческих коренных полков. Чтобы понять атмосферу этих своеобразных воинских соединений, необходимо учесть сочетание в них порыва героической молодежи с условиями непрестанной борьбы, самым вероятным исходом которой была смерть.

«Добровольческие части формировались, вооружались, учились, воспитывались, таяли и вновь пополнялись под огнем, в непрерывных боях» (Деникин, IV, стр. 84).

Другой важной характерной чертой добровольческих полков — было значение «личного усмотрения» их начальников. Ген. Штейфон пишет о том, что в 1919 г. в армии воцарился «удельно-вечевой» порядок (стр. 62). «Личное усмотрение», применяемое при формировании, обычно очень скоро распространялось решительно на все стороны полковой жизни и приводило как начальников, так и подчиненных к забвению законности» (там же, стр. 57). В области снабжения полковое «личное усмотрение» особенно развилось.

«Полки, не надеясь ничего получить от интенданства, не сдавали своей добычи, а ее «загоняли», и каждый командир полка был склонен думать: «раз начальство мне ничего не дает, то оно и не должно вмешиваться в мои внутренние дела» (там же, стр. 62).

Полки стремились обеспечить свою самостоятельность в денежном, продовольственном и даже санитарном отношении: у дроздовцев, например, были свои собственные полковые лазареты со своим же медицинским персоналом и образцовым уходом за ранеными и больными (Туркул, стр. 179).

По словам ген. Деникина, коренные добровольческие части «весьма неохотно мирились с назначением начальников со стороны, выдвигая своих молодых командиров» (IV, стр. 91). В этих полках офицеры делились на «старых», или «первопоходников», и новых, вошедших в полк позже: «первая группа занимала все командные должности и пользовалась правами офицера», вторая — «никакими правами не пользовалась» (Штейфон, стр. 62).

«Чины в Добровольческой армии значения не имели. Доминировала должность. Поручики командовали батальонами, а штаб-офицеры и капитаны были в этих батальонах рядовыми» (там же, стр. 109).

Офицеры, занимающие командные должности, если им удавалось не погибнуть в боях, очень быстро продвигались в чинах.

«В армиях генерала Деникина боевые подвиги награждались исключительно чинами. При непрерывных боях многие получали в течение двух лет несколько чинов и в штаб-офицеры и даже в генералы попадали совсем юноши» (Врангель, II, стр. 79).

Новые добровольческие полки очень быстро выработали себе новые полковые традиции. У них появились свои песни, марши. Они ввели свою форму — особого цвета и украшенную полковыми эмблемами.

«Цвета полков были как бы их символами.

В черно-красный цвет был одет Корниловский полк, зародившийся в пламени революции во имя грядущей обновленной России.

В черно-белый цвет — Офицерский полк генерала Маркова. Когда генерал Алексеев спросил Маркова, зачем он так мрачно одел свой полк, Марков ответил:

— А не такова ли судьба России и всего офицерства?

В голубой цвет — полк генерала Алексеева. Цвет в честь молодежи, гимназистов и студентов, в юношеском порыве устремившейся за призывом старого вождя — зажечь светоч во тьме.

И наконец Дроздовский полк, пробившийся через весь Юг России на соединение с Корниловым. Дроздовцы пришли с алым отблеском боев и пожарищ на своих фуражках» (Кутепов, стр. 81).

В основу формы марковцев, пишет один из них в своих воспоминаниях, «были взяты два слова: «Смерть и Воскресение». Основным цветом стал черный — цвет «Смерти за родину». Белый цвет — «Воскресения родины», ради которого и для которого создаются новые части» (Павлов, I, стр. 59).

Помимо окраски формы, «цветные» добровольческие полки отличались своими эмблемами. У корниловцев эмблемой был щит с вышитым черепом и перекрещенными двумя мечами, у прочих полков — заглавная буква фамилии их покойного шефа.

Эти цвета, значки и прочие полковые традиции имели большое значение для развития у молодых добровольцев верности своему полку. Но они отталкивали значительную часть строевых офицеров, особенно старшего поколения. Им были неприятны «пестрота» форм и ревнивое отношение «цветных» полков к своему «первородству».

В 1919 году, в период максимального численного роста Вооруженных Сил Юга России, эта ситуация послужила стимулом к попыткам отдельных групп офицеров возродить свои старые полки Императорской армии. Эти новые части «обычно не создавались попечением свыше, на основании определенной системы, а самоформировались явочным порядком» (Штейфон, стр. 22).

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Конечно, формирование этих частей, далеко не всегда достигавших достаточного количества бойцов, сильно дезорганизовало Добровольческую армию.

Добровольцев, наряду с верой в свои идеалы, поддерживала и вера в своих вождей.

«Добровольческая армия, пишет ген. Головин, духовно была родственна французской армии, возведшей на престол Наполеона. Это сходство увеличивалось еще и тем разочарованием в революции, которое было присуще обеим этим армиям. Враждебное недоверие к «штатским политикам» сочеталось в них с верой в спасение через выдвинутых ими на свои верхи военных вождей» (II, 2, стр. 65).

У людей, приходивших в Добровольческую армию, уже были выработаны собственные идеи, толкающие их на эту борьбу. В своих вождях они поэтому искали не носителей идей, а начальников, способных возглавить их борьбу.

«Те же из вождей, которые сознавали чрезвычайную сложность создавшейся в революции политической и социальной обстановки, не имели шансов обрести популярность в среде, игравшей решающую роль в Белом Движении», ибо участники Белой борьбы от вождей ждали «прямого действия» и скорейших результатов» (там же, V, 1, стр. 20).

При этом чисто политические мотивации не играли решающей роли.

«Рядовой доброволец искал военного вождя и, найдя его, готов был пожертвовать не только своей жизнью, но и своими политическими идеалами. Несмотря на возрастающие в его среде монархические симпатии, его... тянуло к генералу Корнилову. И это несмотря на то, что ген. Корнилов самолично арестовывал Семью Императора Николая II и многократно во всеулышание заявлял, что он республиканец» (там же, II, 2, стр. 65-66).

Ввиду этого от «вождей фактически зависело, в какого рода силу превратятся уверовавшие в них

армии: в силу демократического или реставрационного порядка» (там же). Мы уже видели выше, что ни Корнилов, ни Деникин не преследовали реставрационных целей...

Если добровольцы не требовали от своих вождей приверженности к той или иной политической системе, они требовали от них умения справиться со своим делом отнюдь не только в чисто военном отношении.

«Строевое офицерство Добровольческой армии, — пишет ген. Штейфон, — дало то, что имело — величайшую доблесть и беспредельную жертвенность, а мудрость и государственное предвидение должны были являться добродетелями вождей» (стр. 44).

К сожалению для Добровольческого движения, далеко не все вожди оказались в этом отношении на высоте. Значительная часть из них «обнаружила отсутствие необходимой творческой гибкости и решительности в совершенно исключительной обстановке» (фон Лампе, стр. 75-76).

От вождей добровольчества, которым во всем доверяли добровольцы, требовались не только военный талант, «государственная мудрость», но и высокие моральные качества. В этом отношении главные вожди добровольцев оказались вполне на высоте, за исключением двоих, как мы уже упоминали, — генералов Слащёва и Май-Маевского. Ген. Май-Маевский, например, был в Харькове знаменит организацией кутежей, и его пример оказался дурным соблазном, который постепенно сверху проникал вниз (Штейфон, стр. 48). Ген. Слащёв, позже перешедший на сторону врага, был наркоманом и прославился своей жестокостью, получив малозавидную кличку «Слащёва-вешателя».

Особое значение имела личность верховного руководителя Добровольческой армии — генерала

## ПУТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Деникина. От него в большой мере зависело, по каким путям пойдет добровольчество.

В октябре 1918 года ген. Деникин писал:

«Должна быть единая Русская Армия, с единым фронтом, единым командованием, облечённым полной мощью и ответственным лишь перед русским народом в лице его будущей законной верховной власти» (речь от 28. X. 18 г.).

Стремление ген. Деникина к единоличной власти совпадало со стремлением самих добровольцев.

«Настроение Добровольческой Армии требовало «персонификации» всего движения в личности выдвинутого ею вождя; военная диктатура — вот чего хотела рядовая среда добровольцев» (Головин, II, 2, стр. 70).

К сожалению, ген. Деникину не хватало двух очень важных качеств для военно-политического вождя: решительности и широты кругозора.

«В основе... нерешительности ген. Деникина по отношению к старшим лицам его окружения, — пишет ген. Головин, — лежит не слабость воли или отсутствие мужества. Этими источниками являлась психология «кружковщины», кристаллизировавшаяся во время Быховского сидения. При подобной психологии свет видели только «в своем окошке». А это легко приводило к тому, что «своим» прощалось больше, чем чужим» (там же, V, 1, стр. 49).

Ген. Деникин не смог подняться над уровнем своего окружения, но он не смог подняться и над уровнем рядового добровольца. Подчиняясь стихийному желанию армии, например, он ее пустил на «широкую московскую дорогу» своей «Московской директивой», вопреки общеизвестным истинам военного искусства. До этого таким же образом было принято решение предпринять второй «Кубанский» поход:

«Решение ген. Деникина идти на Кубань вполне отвечало пониманию и настроению рядовой массы Добровольческой Армии. Новый вождь Белого Движения не

смог подняться над уровнем той толпы, которая выдвинула его на верх», — отмечает с горечью ген. Головин (там же, стр. 20).

Дело в том, что Главнокомандующего связывали со своей армией, с юношами-героями, которые ее составляли, не обычные, старорежимные отношения начальника и подчиненных. Генерал Деникин был для добровольцев не абстрактным солженицынским Жилинским-Орановским, решающим и приказывающим по собственному усмотрению. Генерал Деникин был просто старшим добровольцем и отлично понимал, что он имеет право посылать на смерть лучшую молодежь страны только ради того, что эта молодежь добровольно приняла. Конечно, такие человеческие (хотелось бы сказать «любовные») отношения между командующим и подчиненными были большим, наверное, даже роковым недостатком для структуры Добровольческого дела, но именно они наглядно выражают *человеческую правду* Добровольческой борьбы.

*(Окончание следует)*

# Библиография

## Связь времен

Когда-то Виктор Шкловский написал, что литераторы подобны цирковым борцам, у которых победа или поражение на арене еще не значат, что этот борец плох или хорош — цирк требует зрелища, а зрелище требует того, чтобы сеанс борьбы проводился, что называется, на зрителя. Нередко поэтому ради эффекта сильный спортсмен вынужден поддаваться, а более слабый ходит в чемпионках.

Но раз в год, — напоминает Шкловский, — борцы собираются в Гамбурге, и вот тут-то выясняется, кто на самом деле какого места достоин, ибо борются они уже не для публики, а меряются силами всерьез. Так и установилось с тех пор выражение «гамбургский счёт». Счёт истинный. Не для читателя, не для критики, не потому, что у какого-то писателя анкета больше подходит, или написал он что-то нужное позарез для праздничного номера «Известий», а просто потому, что он — это он.

Но, видимо, ни в одной литературе мира нет такого огромного различия между официальным признанием поэта и местом его в литературе по «гамбургскому счёту», как в советской литературе. Примеров того, что официальная известность у нас зачастую полярно противоположна истинной поэтической ценности, можно привести множество.

В последние годы, когда на Западе стали выходить книги поэтов, которые в Советском Союзе не только не печатались, но и помыслить об этом не могли, истинная картина русской поэзии наших дней начала проглядывать сквозь официальную, как древняя фреска сквозь мазню ремесленника.

Конечно, я далек от мысли, что всё издаваемое у нас — хуже, чем всё неиздаваемое. Стихи Ахмадулиной, например, не стали хуже от того, что они выходят в Москве, и не малыми тиражами (с другой стороны, и на Западе появляются стихи графоманские, а то, что авторы их в СССР не публиковались, объясняется отнюдь не их

---

Лия Владимировна. Связь времен. Издано в Израиле, 1975, 96 стр.

крамольностью). Но когда никакие идеологические и прочие внелитературные причины не мешают издать книгу, только в таком случае и можно говорить по «гамбургскому счёту».

И вот по этому самому «гамбургскому счёту» можно утверждать, что поэзия Лии Владимировой, выехавшей из СССР около трех лет тому назад, — явление незаурядное. После двух подборок в журнале «Грани» (№№ 89-90, 92-93), отдельных публикаций в «Новом журнале», газете «Русская мысль» и небольшой поэмы в журнале «Континент» Лия Владимирова выпустила свою первую книгу стихов «Связь времен». Большая часть стихотворений из этой книги написана еще в Москве. И общее ощущение от них наводит на мысль, что чем крупнее, серьезнее поэзия, обреченная на то, чтобы оставаться в столе у поэта, тем трагичнее становится его восприятие времени. Конечно, для трагизма поэзии у нас и кроме этого немало причин, но и такую, субъективную, казалось бы, причину трудно сбросить со счетов. Не хочется говорить банальные слова, высчитывать процент пессимизма и оптимизма в стихах, но не учитывать личную судьбу поэта тоже нельзя — ведь из нее стихи рождаются. Ибо литератор — не токарь, он сам — свой инструмент, и «амортизация сердца и души», как говорил Маяковский, — «страшнейшая из амортизаций».

Учитывая это, всегда удивляешься внутренней силе личности. Той, которая могла, к примеру, породить такие стихи:

И прочитала я ответ  
 На ясновидящей странице:  
 И будет твердь, и будет свет,  
 И человек на свет родится.

Соборной светописью лет  
 Был полон замысел начальный,  
 Но взорвана исповедаляня,  
 И мира нет, и света нет.

О Книга, летопись печалей:  
 Как жить, как верить, как молиться?

И прочитала я ответ  
 На ясновидящей странице:  
 И будет твердь, и будет свет,  
 И человек на свет родится.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Строки эти написаны в Москве в 1972-1973 году. И вот — одно из главных свойств поэзии Владимировой: вера в добро как в категорию вселенскую. Вопреки окружающей действительности, вопреки перипетиям жизни. Легка такая вера для человека слепого, но для поэта, который знает:

«Ничто не сделалось золою, ничто травой не поросло» — это вера выстраданная.

Противостояние внутреннего мира всему, что вокруг, всему, что старается или запугать человека, усмирить его, или купить его теми сатанинскими ценностями, которые завтра же в черепки обратятся, дается такое противостояние нелегко. И этот мотив — отстоять себя, свою душу живу — этот мотив, столь часто звучавший и у Блока, и у Есенина («но только лиры милой не отдам»), в стихах Владимировой очень важен: он — та призма, сквозь которую поэзия ее видна во всем многоцветии:

Могу ль я память излечить,  
Чтобы вчерашним не горела,  
Чтобы, устав кровоточить,  
Спокойно тлела и старела?

Какой по счёту адский круг?  
В который раз встает из праха  
Всеусмиряющий недуг  
Благополучия и страха!..

Благополучие и страх, кнут и пряник — вот какой рожей обернулось то, о чем еще Блок догадывался, вот какой облик принял соблазнитель, который всегда в душе человеческой скрыт — как ни зови его. «Нет, лучше сгинуть в стуже лютой — уюта нет, покоя нет». Не случайно приходят на память эти блоковские строки. Владимирова сегодня пытается дать ответ на блоковский вопрос о том, как и почему поэт противостоит искушению. «Недуг благополучия и страха» возникает на каждом крутом повороте судьбы. И если не устоял поэт — кончена его поэзия (вспомним «Портрет» Гоголя!). Особенно в наше время, когда недуг этот принял такие невероятные размеры и такую ясно очерченную форму, как кнут и пряник, когда потерял всякую мистическую окрашенность и обернулся пошлейшей физиономией соблазна карьерой и прочими банальностями советской действительности. И толь-

ко сознание, что «кесарю — кесарево, а Божье — Богу», только истинное понимание ценностей вечных и отделение их от преходящих дает силы поэту остаться собой:

Взбунтоваться водою талой,  
Подорожником прорасти,  
Или цветом, маково-алым,  
Невозможным и небывалым,  
В исступленной пустыне цвести —  
Хоть бы миг!..

Если искать поэтических предков Владимировой, если пытаться выделить нить традиции, — первое, что бросается в глаза, это — близость к Ахматовой. Точные формулировки чувств, названность, единственность каждого эпитета — нет такого, чтобы два определения к одному слову, — и еще: значительность детали. Все это с первого взгляда так, и совсем не так, если вместо того, чтобы анализировать эти стихи с сухостью структуралистов, просто как поэт поэта услышать, просто почувствовать... Тогда — совсем другое: осознание раскола собственной души, бесстрашное обнажение перед собой и читателем того, чему Достоевский дал имя «подполье». Владимирова спускается в этот психологический ад без Вергилия. В одиночестве. Вот эта борьба с подпольем своей души — это то, что один лишь поэт на Руси сделал главным мотивом своей поэзии — Александр Блок. Лермонтов лишь робко, наощупь пытался забраться в себя, подозревая, а не зная, что есть оно — нечто; но нужен был Достоевский, чтобы этого дьявола назвать по имени. Подполье. Вечная борьба человека не столько с собой, сколько в себе. И в стихах Владимировой с ужасающей ясностью видим мы, как этот бес, это подполье меняет облик. Оно всегда меняет облик, ибо в том и жуть его, что оно-то всегда современно, оно никогда не отстает от духа времени (или от дьявола времени?). Но точно одно: этот дух подполья не явится вам со шпагой и с петушиным пером, сегодня он будет иметь вполне сегодняшний вид, даже слегка завтрашний. Но суть его неизменна. Вот как сказано об этом у Владимировой:

Который век несешь покорно  
Двойной судьбы нелегкий крест:  
Днем — пишешь ордер на арест,  
И ждешь ареста ночью черной.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Не гору двигаешь плечом —  
Колотишься плечами в стены.  
И быть умеешь палачом,  
И казни ждешь одновременно.

Это и душа современного русского человека, так называемого советского человека, сегодняшний облик его подполья, сегодняшний наряд его внутреннего дьявола, и вместе с тем — судьба России, могучей и бессильной, как у Некрасова, святой и проклятой, как у Блока. Вот почему Владимировна пишет так горько:

И тот же край зову в молитвах,  
И тот же край зову тюрьмой,  
И участь, узкая, как бритва,  
Вот так же срежет голос мой.

Иль мы в огне не ищем брода?  
Но вновь плывут, как облака,  
Всё те же воды, те же годы,  
Кресты и версты и века...

И еще один мотив, уже незнакомый Блоку, врывается в тему России у Лии Владимировой. Мотив этот специфичен лишь для нашего времени, но еще один тон, или обертон, звучит, меняя мелодию, придавая ей оттенки, еще донныне неведомые русской поэзии. Еще одно раздвоение души: расколота психология русского поэта, которому всю жизнь с детства напоминают и люди и обстоятельства о его нерусском происхождении. Человеку, родившемуся в России, русскому по духу, по глубинному ощущению христианской сути русского сознания, — неужели нужно еще кому-то доказывать свою русскость? Ни природы иной, ни языка иного не знала поэтесса с рождения. И если бы не напоминали постоянно те, кому выгодно, разделяя, властвовать, и не заподозрила бы о том, что один из родителей ее еврей. Но поэзия потому и чудо, что чем острее боль, тем больше шансов у нее трансформироваться в красоту. И вот сознание двуединой природы своей, внесенное извне, осмысливается в ее стихах. Но не в сторону развития какого-нибудь комплекса неполноценности — что нередко, нет, сознание это приводит к мысли о слитности и преемственности духовной, той, которая составляет одну из коренных идей христианской философии: как сказано в Нагорной проповеди: «Не думайте, что Я пришел нарушить

закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить», — так говорит Христос ученикам (от Матф. 5, 17). Ибо Новый Завет — не отрицание, а продолжение Ветхого... И вот стихи Владимировой:

Моя тарусская Россия,  
Моя владимирская ширь,  
Моя возлюбленная Лия  
И Руфь и нежная Эсфирь.

И блещет двуединым светом  
Крыло у каждого плеча,  
И две судьбы, как два Завета,  
В меня вошли кровотока.

Впервые в русской поэзии этот мотив получил такую определенность формулировки, поставившей всё на свои места. Стихи на эту тему, стихи звучания иудео-христианского, занимают в книге Владимировой немалое место. И это в русской поэзии впервые. То, что становится готовым к выражению в стихе, то, что созрело в жизни и психологии людей, рано или поздно находит своего выразителя. Мне кажется, что наиболее точно, совершенно — как философски, так и поэтически — мотив этот звучит в следующем стихотворении Лии Владимировой:

Звенит в тоске неутолимой  
Церковный хор.  
Глядят иконы — мимо, мимо,  
Потупив взор.  
Их лик хранит неизгладимо  
Черты примет;  
От царских врат к Ерусалиму  
Начертан след.  
О, шорох ночи гефсиманской,  
Еще продлись,  
С тоской безумною, славянской  
Переплетись,  
И как же ты необычайно,  
Двойное «я» —  
Два мира у тебя, две тайны,  
Два бытия!

После этих стихов, да и после всего звучания поэзии Владимировой, в которой это двойное сознание — не раскол души, а гармония двух древних традиций, ожидаешь

## БИБЛИОГРАФИЯ

и осмысления еще одной остросовременной темы: почему поэтесса решилась покинуть родину, она, чья поэзия имеет такие глубокие национально-русские корни? Ответ на это находим в ее стихах с эпиграфом из Ахматовой: «Кидалась в ноги палачам».

Только страх один проклятый  
Спать мешает по ночам:  
Что и я, и я когда-то  
Брошусь в ноги палачам...

Не за себя этот страх... (И Ахматова не за себя боялась, за сына, попавшего в руки этих палачей!) Нет, страх хоть на миг уронить свое человеческое, свое христианское достоинство. И когда Владимирова вспоминает, как один из московских редакторов однажды заявил ей угрожающим тоном: «Последний суд над поэзией блоковской эпохи еще впереди», то это говорило уже не то подполье, которое открыл Достоевский в каждом человеке, а вылезший из преисподней фантом — образ, материализовавшийся в людях совершенно определенного типа, в людях, которые получили от того же Достоевского точную кличку «Бесы».

Пробиться в печать молодому поэту и вообще нелегко, а уж если им занимается комиссия Союза писателей по работе с молодыми авторами, (или как называют ее ленинградцы — «комиссия по борьбе с молодыми авторами») — то надежда опубликоваться уменьшается в несколько раз, тем более, если творчество поэта не очень созвучно требованиям пропаганды — тем более, если поэт пишет такую лирику, которая может быть охарактеризована как философская:

Не обелить мне этих дней  
Ни малодушием покорным,  
Ни этим страхом, страхом чёрным,  
Изнанкой памяти моей.

А может быть, всё это сон?  
Усталых душ воображенье?..  
Минутной ряби отраженье  
В бесстрастном зеркале времен?

Такое отношение к современности не очень у нас поощряется: ведь в самом вопросе содержится отрицание: нет, не сон эта советская действительность, нет, не ми-

нутная рябь. И то, что вопрос следует после строки резкой и прямой — «Не обелить мне этих дней»\*) — само по себе говорит о том, как зыбок этот вопрос, как нереальна надежда счесть всю нашу действительность лишь дурным сном.

Философская лирика, высшее развитие которой в русской поэзии связано прежде всего с именем Тютчева, — это всегда спор поэта с самим собой. Это всегда борьба двух мироощущений в душе — желанного и нежеланного, если говорить огрубленно. У Владимировой этот спор, эта «трещина мира», проходящая, по выражению Генриха Гейне, через сердце поэта, воплотилась в столкновение языческого восприятия бытия с христианским его восприятием:

Огнепоклонниц и дикарок  
Проворный бег через века,

тех, которые, подобно Саломее, несущей на блюде голову Иоанна Крестителя, несут «отрубленное солнце», этот бег влечет к себе поэтессу своей непосредственностью, страстностью. И Москва в ее стихах то и дело проявляет свою языческую суть, выбивающуюся из-под христианского покрова. С кем же поэт? Кто она, душа русского человека?

Рукою нежной и крестьянской  
Она крестила Божий храм?  
Или душой дохристианской  
Молилась солнечным богам?

Не случайно эта тема так глубоко волнует Владимирову. Она инстинктивно чувствует то, что языческие реминисценции, первобытное мироощущение при всей своей романтической привлекательности несут с собой и кое-что пострашней: именно с языческими, хотя и неосознанными, невысказанными пока в словах чувствами связана вся наша тираническая действительность. Как и любая, впрочем, антигуманная деспотия. Ведь не секрет, что, по-

---

\*) Далее речь пойдет о стихах, которые Владимирову в книгу большей частью не включила, но без них разговор о ее творчестве был бы неполным — многие из этих стихов необходимы для понимания ее поэтического кредо (см. журнал «Грани» №№ 89/90 и 92/93, а также «Новый Журнал» № 114). — В. Б.

## БИБЛИОГРАФИЯ

нимая бесплодность атеизма, гитлеровские идеологи противопоставили христианскому гуманизму древнее германское язычество с его жестокими пещерными взглядами и ритуалами. К тому же ведет и попытка оживить язычество древнеславянское сегодня в России. Та попытка в искусстве усилить до предела национальные мотивы, исключив, отрубив христианское сознание, сделавшее Россию цивилизованной, европейской страной. Попытка увести ее в Азию, выдав языческие ценности за патриотические мотивы. Ведь именно эта концепция ведет таких фаворитов советской идеологии, как художник Глазунов и литераторы, группирующиеся вокруг журнала «Молодая гвардия». Ибо у тоталитарной системы, у системы активной несвободы в конечном счете лишь один враг — христианское сознание, персонализм, понятие о личности как высшей ценности. Вот почему столкновение языческих мотивов с христианскими находит в поэзии Владимировой столь важное место. Поле борьбы — душа человека, не только в наши дни, а всегда. Неслучайно поэтому большинство стихов Владимировой — это ощущение современного мира сквозь призму Ветхого и Нового Заветов.

И даты вспять бежали, как солдаты,  
И падали, вмерзая в черный снег,  
И встанет век на век, как брат на брата,  
И в Боге усомнится человек...

Огонь погас, но дух самосожженья,  
Как душный хмель, еще гуляет в нас,  
И как полки в слепом пылу сраженья  
Сошлись века невидимо для глаз.

Здесь чувствуется грозный дух Апокалипсиса, почти физическое ощущение того, что времени больше не стало, когда разные времена, вопреки внешней логике, сталкиваются между собой, принимая образ солдат, а судьба отдельного человека воплощается в образе отверженного и униженного жестокими и не понимающими самоценность личности современниками — в образе Сына Человеческого, Которому негде главу преклонить:

Прервалась лет связующая нить,  
И выстужены вздыбленные стены,  
И голову мне негде приклонить,  
И негде преклонить колена...

Слияние образов Христа и Гамлета — вот сегодняшний русский человек, и сама Россия, распятая, Россия уже полвека живущая на Голгофе — во имя чего?

И нет неправдам счёта и числа,  
И тот же гик, и свист, и пляс у гроба  
Всего, что метя золотую пробой,  
Россия в искупленье отдала.

В стихах Владимировой с этим выстрадавшим гуманистическим оптимизмом, с этой светлой мелодией Нового Завета, сочетаются суровые ветхозаветные мотивы. Мудрый пессимизм Экклезиаста, констатировавшего, что ничего нет нового под солнцем и что возвращается ветер на круги своя, чувствуется в ее стихах:

Кружу под тем же снегопадом,  
Как кто-то до меня кружил,  
Дружу я с тем же, с кем не надо,  
Как кто-то до меня дружил...

Но сквозь реминисценции Священного Писания всё время в поэзии Лии Владимировой виден сегодняшний человек с его главной трагедией — разобщенностью:

Август, осени посредник!  
Сверху пламя, снизу тьма.  
Кто твой нынешний наследник?  
Поле? Колокол? Зима?  
Или просто я сама?

Август — хлебник, август — требник,  
Август медленный лечебник,  
Дань сошедшему с ума.  
Ой светла моя тюрьма.  
Снизу — пламя, сверху — тьма.

Так тьма, едва отделенная от света, возвращает сегодняшнего человека, его дух к первому дню творения, когда, согласно Книге Бытия, лишь свет был отделен от тьмы, и до сотворения человека оставались несчетные времена.

Именно разобщенность, одиночество каждого — вот психологические последствия современного язычества, сменившего на деле голые слова об атеизме. Язычество с его звериными законами, с его вседозволенностью, с культом грубой силы — оно, его рожа вылазит из-за идеологических догм.

## БИБЛИОГРАФИЯ

И поэтическое спасение находит Владимирова в традиционном для русского искусства образе женственности, жертвенного материнства, издавна воплотившегося на Руси в лике Богоматери, в образе, преодолевающем разобщенность людей:

Хоть наг и бос, не безголос  
Твой крестный ход, моя Россия!  
Не в каждом воине — Христос,  
Но в каждой матери — Мария.

Василий БЕТАКИ

## РОМАН-АНЕКДОТ

Когда уже больше шести лет тому назад в № 72 «Г р а н е й» (1969 г.) появилась первая часть «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина», все, кто следит за современной русской литературой, насторожились: заговорил новый крупный и яркий талант, появился новый, никем еще не схваченный образ. А теперь перед нами и книжка, хоть, правда, еще только из двух, а не из обещанных пяти частей, но такая, что ждать выхода остальных было бы глупым формализмом.

«Роман-анекдот» об Иване Чонкине (так обозначил его автор) развивается и набирает силу. Станет ли Чонкин в ряд с бравым солдатом Швейком и Василием Тёркиным? Поначалу могло ведь и так показаться. Или это просто новое издание извечного русского Иванушки-дурачка? «Красноармеец последнего года службы Иван Чонкин, маленький, кривоногий, в сбившейся под ремнем гимнастерке, в пилотке, надвинутой на большие красные уши и в сползающих обмотках» — вот внешний портрет героя, необычайные приключения которого возможны только при необычайной власти, называющей себя советской.

В появившемся недавно в «Посеве» (№ 8/1975) умном разборе Н. Коржавина роман-анекдот Войновича толку-

---

В. Н. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», роман-анекдот в пяти частях. Ч. 1-2. УМСА-PRESS, Париж, 1975 г.

ется как «столкновение стихий»: стихии противоестественности и бессмыслия, нелепой «игры в людей» (выражение Пастернака) с изуродованной этой противоестественностью и страхом стихией человеческих забот и требований, с их неотменимой естественностью. И в этом столкновении, как пишет Коржавин, «отсталость и простоватость — такова жизнь! — в высшем по крайней мере смысле идут ему (Чонкину) только на пользу. Прежде всего это помогает ему оставаться вполне нормальным человеком, способным на жалость и сочувствие». Нормальным человеком остается и его подруга Нюрка, да, в положенной каждому индивидуальной мере, и каждое действующее лицо романа. Анекдотичность же и подлинный комизм ситуаций рождается из нормальной адаптации к ненормальностям обстановки. Литературный прием остранения вырастает тут из самой жизни, и неслучайно ПУКС («Путь к социализму» — гибрид помидора и картофеля колхозного самоучки Гладышева) так напоминает искандеровского козлотура.

Приключения Ивана Чонкина читаются с захватывающим интересом. Начиная с ЧП — вынужденной посадки самолета возле деревни Красное (бывш. Гязное) и откомандирования Чонкина для охраны этого самолета (было бы с кого спросить) — и до появления работников славного Учреждения («завидев их, жители деревни прятались по избам и осторожно выглядывали из-за занавесок, дети переставали плакать, и собаки не лаяли из-под ворот»), действие развивается с парадоксальной логикой анекдота, и Чонкин лишь выполняет воинский долг, когда берет их в плен, а против него бросают целую стрелковую часть, снятую с отправляющегося на фронт эшелона. Еще бы! Ведь по неумолимой логике Кого Надо Чонкин со своей Нюркой и пленными с неизбежностью перерастает в парашютированный в наш советский тыл немецко-фашистский десант.

Тем, кому надлежит тут высказывать Мнение, по той же неумолимо анекдотной логике, суждено объярлычить роман-анекдот о Чонкине как «клеветническую пародию на нашу советскую действительность». Но судилища того же Мнения, скажем, над Бухариным и Рыковым, над Пятаковым, над Зиновьевым и Каменевым и над бесчисленными другими, та же логика до сих пор не смеет назвать ни клеветой, ни пародией. Сочинил-то их ведь не опальный писатель Войнович.

Р. Р.

ЛЕГАЛЬНАЯ БОРЬБА

Общественная деятельность автора этой книги достаточно известна, а справка о ней напечатана на обложке. Валерий Николаевич Чалидзе был и остается активным деятелем того, что он сам называет «движением в защиту прав человека», движения, выступившего во имя легальности и под знаком легальности, движения, из среды которого родился лозунг «Уважайте вашу Конституцию!»

Оценивая положение сегодня, Чалидзе пишет: «похоже, что от былой активности осталось немного» (стр. 192). Вместе с тем, однако, движение «показало многим людям, что можно называть вещи их именами и можно воспринимать законы так, как они написаны, а не так, как толкует их начальство» (там же).

Книга содержит восемь глав, посвященных анализу советского права и его приложению на практике. В первой же главе Чалидзе дает отличную характеристику специфических черт советского права, его партийности как в формулировке законоположений, так и в их толковании. Отлично описано (и проиллюстрировано примерами) и применение советских юридических норм в конкретной жизни страны. Чалидзе, бесспорно, знаток советского права; он знает его букву и понимает его дух; он умело показывает читателю переключку правового и неправового принуждения и технику правообразного оформления бесправия. Читая книгу Чалидзе, лишней раз убеждаешься в принципиальной негодности самых основ советского «правового» мышления (без кавычек ту не обойтись!), убеждаешься в том, что с партийных позиций никакого права вообще создать нельзя.

Почти сто страниц приложений, характеризующих деятельность Чалидзе в период его участия в работе Комитета прав человека в Москве, еще больше укрепляют это убеждение.

В книге отразилось, понятно, и противоречие, определившее и деятельность, и судьбу движения, а вместе с ним и самого Чалидзе. Противоречие это в том, что вести правовую борьбу, опираясь на действующие советские законы — задача невыполнимая в силу того, что самый дух советского законодательства, его целенаправленная пар-

---

Валерий Чалидзе. Права человека и Советский Союз. Изд-во «Хроника», Нью-Йорк, 1974 г.

тийность заведомо исключают возможность «воспринимать законы так, как они написаны». Партийная власть требует воспринимать их только и именно так, «как толкует их начальство» (т. е. всё тот же партийный законодатель). И борьба за что бы то ни было в советской стране (в том числе и за непартийное толкование законов) может вестись легально ровно в той мере, в какой партия считает ее легальной.

Наличие этого противоречия заставит читателя задуматься, но, конечно, лишь увеличит его желание дочитать до конца эту интересно и живо написанную книгу.

Р. Н.

### КОРОТКО О КНИГАХ

**Священник ДМИТРИЙ ДУДКО. О нашем уповании. (Беседы). Москва, 1974. YMCA-PRESS, Париж, 1975. 271 стр., 1 портрет.**

Книга содержит девять бесед и последнее слово о. Дмитрия Дудко (священника Никольского храма на Преображенском кладбище в Москве). Эти девять бесед и последнее слово были произнесены им еще в храме; две последние беседы были проведены уже после запрещения бесед патриархом Пименом, — «в частном порядке». В книге имеются, кроме того, различные материалы, связанные с запрещением бесед и удалением о. Дмитрия из его храма. Беседы о. Дмитрия с прихожанами происходили в форме вопросов, задававшихся письменно и анонимно, и ответов на них священника после очередного богослужения. Беседы касаются самых различных тем и проблем, связанных с верой в Бога, православием, с церковными богослужениями и с каждодневной жизнью православного христианина сегодняшней России. Книга свидетельствует о подлинном мужестве и вере о. Дмитрия в Бога и в духовное возрождение России.

**ВСХСОН (Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа). Программа. Суд. В тюрьмах и лагерях. YMCA-PRESS, Париж, 1975. 210 стр., 4 портрета.**

Составитель этого сборника — Джон Дэнлоп — определяет свою задачу следующим образом: «собрать в одной книге все главные источники, относящиеся к делу Социал-

## БИБЛИОГРАФИЯ

Христиан». Тайная организация ВСХСОН возникла в Ленинграде в феврале 1964 г. и была раскрыта КГБ с помощью одного предателя, члена этой организации, в феврале 1967 г. В ее состав входили 30 членов и 30 кандидатов из самых разных городов России. Не принимая «тоталитарную идеологию коммунистической бюрократии», ВСХСОН ставил своей целью свержение советской власти и строя и сделал попытку сформулировать главные принципы социал-христианства, в основу которых должна была лечь философия Н. Бердяева. В Программе ВСХСОН есть три главных принципа: христианизация политики, христианизация экономики, христианизация культуры.

**ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ. Сборник материалов. Август 1973 — февраль 1974. Самиздат — Москва. УМСА-PRESS, Париж, 1975. Стр. 204.**

Этот сборник делится на пять частей: «Архипелаг ГУЛаг» выходит в свет; Травля; Арест; Изгнание; Перечень бесцензурных документов. Сборник был посвящен выходу в декабре 1973 г. в свет книги Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» и последовавшим за этим событиям. Он был составлен в России и пущен в Самиздат в марте 1974 г. В нем, с одной стороны, помещены материалы — обращения, письма, интервью и т. д., — направленные на защиту писателя, с другой, — выдержки из советской прессы и высказывания различных деятелей, поддерживающих мнение советской власти о Солженицыне и его творчестве.

**Н. ЗЕРНОВ. Русское религиозное возрождение XX века. Перевод с английского. УМСА-PRESS, Париж, 1974. Стр. 382.**

Книга Н. Зернова, изданная по-английски в 1963 году, проникла в Россию и там несколько раз была переведена на русский и выпущена Самиздатом без участия автора, проживающего в Лондоне. Настоящее издание основывается на одном из этих переводов. Автор книги пытается проследить развитие православной Церкви и отношение к ней русского общества с конца XIX в. до нашего времени. Он изучает церковную жизнь в самом широком плане, останавливаясь на возникновении и развитии православной интеллигенции, на связи религиозного возрождения с русской литературой, на встрече православия

с христианством на Западе. К книге приложены биографические данные о представителях русской религиозной мысли за рубежом в течение последних пятидесяти лет и библиографический указатель использованных в книге трудов.

**DOSTOEVSKI'S Image in Russia Today by WLADIMIR SEDURO.**

Известный специалист по творчеству Достоевского в США проф. Владимир Седуро в этом труде обстоятельно изучает отношение советского литературоведения к Достоевскому с 1956 г. до наших дней. В приложении к книге В. Седуро представлен обзор основных трудов авторов-эмигрантов о Достоевском, начиная с двадцатых годов. Труд проф. Седуро отлично показывает, что в поединке между коммунистическим учением и христианским гуманизмом Достоевского (вместе с его эстетическим богатством) последний постепенно побеждает.

**ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ. Отражения. УМСА-PRESS, Париж, 1975. Стр. 290. Обложка Старицкой. 37 фотографий.**

«Отражения» — книга воспоминаний и документов. Воспоминания причудливо переплетаются с письмами и фотографиями многих известных деятелей культуры русской эмиграции. Книга завершается выдержками «Из моего альбома». Автор книги хорошо знал многих известных писателей, художников, поэтов, литературоведов, всю атмосферу русского Монпарнаса. В книге мы встречаемся и с Ремизовыми, с Буниными, Адамовичем, Замятиным, Ю. Анненковым, Тэффи, Мариной Цветаевой и многими другими. «Отражения» — еще один ценный вклад во всё более расширяющуюся мемуарную литературу российской эмиграции, которая подводит непосредственный и добрый итог тому большому делу, которому эмиграция России служила.

**АННА КУЗНЕЦОВА-БУДАНОВА. И у меня был край родной. Издание Якова и Юрия Будановых. Мюнхен. Напечатана в типографии «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1975 г.**

Книга посвящена воспоминаниям детства, юности и зрелым годам автора. Делится на три части: В Бежице; Университет; В советских условиях. Книга охватывает

## БИБЛИОГРАФИЯ

период предреволюционный и послереволюционный. Воспоминания Будановой — свидетельство женщины-врача, вышедшей из рабочей семьи. Свидетельства такого рода — всегда являются ценным историческим материалом описываемой автором эпохи.

*К подписчикам, читателям и друзьям нашего  
журнала!*

Уже тридцать лет служим мы свободной литературе России. Всегда стремились мы отражать её многогранность. При отборе руководствовались соображениями литературными, требованиями правдивости и художественности. А если ошибались или сознательно отступали от этого правила, то по одной и только по одной причине: отдавали предпочтение тем, кто творит в условиях, где само творчество — подвиг.

Российской литературе и публицистике предоставляем мы страницы. По этому пути шли и впредь будем идти. Путь нелегкий и терниев на нём больше, чем роз. Но всегда на горизонте конечная цель — свободный русский журнал в России. Не о формальном адресе редакции идёт речь, а о духовных её координатах, и не «московская квартира» определяет творческую связь писателя с Россией. И всё же родная земля всегда останется полем нашего главного действия, на ней только и может реализоваться замысел свободного русского журнала.

Издавать русский журнал за рубежом — трудное дело. И не творческие трудности на первом месте, а материальные. И хотя редакция нашего журнала — сколько ни менялся её состав — работает практически безвозмездно, материальной проблемы это не снимает. Набор, печатание, бумага, переплет — всё это из года в год дороже и дороже. И всё это должно покрываться подписной платой, так как никаких других источников дохода у журнала нет. А журнал надо расширять — рвутся на свободные страницы из цензурных тисков и капканов всё новые и новые рукописи: и проза, и стихи, и статьи. И обязаны мы эти страницы обеспечить.

С прошлого номера мы увеличили их число. Но мы были вынуждены повысить и подписную плату.

Мы просим и дальше поддерживать наш журнал своей подпиской.

Мы просим помогать нам в поисках новых подписчиков. Спасибо.

*Редакция журнала «Г р а н и»*

**Содержание номеров журнала «Гр а н и» помещено:**

- с № 1 по № 58 в № 59
- с № 52 по № 74 в № 74
- с № 75 по № 78 в № 78
- с № 79 по № 86 в № 87-88
- с № 75 по № 89-90 в № 89-90
- с № 91 по № 95 в № 95

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

**Редактирует Редакционная Коллегия**  
**Главный редактор Н. Б. Тарасова**

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,**  
**Flurscheideweg 15**

---

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

**ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»  
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,  
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,  
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,  
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ  
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**P o s e v - Verlag,**  
**623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.**

### **ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!**

Это обращение составлено нами до подписания Советским Союзом Всемирной конвенции об авторском праве. Однако ничего не изменилось: свобода творчества подавляется, как и раньше. Поэтому мы будем продолжать помогать российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

**С дружеским приветом**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО « П О С Е В »**

## **КНИГИ — РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ**

Для подарка мы особенно рекомендуем следующие книги (хотя, конечно, пошлем и любую другую книгу нашего издания — по вашему выбору):

Александр БЕК — Новое назначение. Тв. перепл., 234 стр., цена 18.70 н. м.

Михаил БУЛГАКОВ — Мастер и Маргарита. Тв. перепл., 500 стр., цена 24. — н. м.

Генерал ВРАНГЕЛЬ — Воспоминания. Тв. перепл., 648 стр., цена 50 н. м.

Александр ГАЛИЧ — Поколение обреченных. Мягк. перепл., 304 стр., цена 17.70 н. м.

Анатолий ГЛАДИЛИН — Прогноз на завтра. Тв. перепл., 190 стр., цена 17.70 н. м.

Василий ГРОССМАН — Все течет... Тв. перепл., 208 стр., цена 18.80 н. м.

Александр КАЗАНЦЕВ — Третья сила. Мягк. перепл., 352 стр., цена 18.80 н. м.

Владимир МАКСИМОВ — Семь дней творения. Тв. перепл., 352 стр., цена 28.80 н. м.

Владимир МАКСИМОВ — тт. I (Рассказы), III (Карантин) и IV (Прощание из ниоткуда). Тв. перепл., цена каждого тома 23.50 н. м.

Сергей МАКСИМОВ — Денис Бушуев. Тв. перепл., 470 стр., цена 27.80 н. м.

Булат ОКУДЖАВА — Проза и поэзия. Тв. перепл., 320 стр., цена 19.— н. м.

Александр СОЛЖЕНИЦЫН — В круге первом (в 2-х томах). Тв. перепл., цена 36.— н. м.

Александр СОЛЖЕНИЦЫН — Архипелаг ГУЛаг. Мягк. перепл. Т. I: 606 стр., цена 23.— н. м. Т. II: 657 стр., цена 24.— н. м.

Аркадий и Борис СТРУГАЦКИЕ — Гадкие лебеди. Тв. перепл., 267 стр., цена 21 н. м.

и, конечно, НАШИ НОВИНКИ

Георгий ВЛАДИМОВ — Верный Руслан. Тв. перепл., 176 стр., цена 14.50 н. м.

В. ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬДТ — Против Сталина и Гитлера. Мягк. перепл., 440 стр., цена 28.— н. м.

а также наш КАЛЕНДАРЬ на 1976 год (цена 12.— н. м.)

# ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

И

## ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ. ИЗБРАННОЕ.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

«Посев» (12) и «Вольное слово» (4) — 65 н. м. (28 дол.)  
«Посев» (12) — 50 н. м. (22 дол.)

ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И МАГАЗИНЫ

«Посев» (12) и «Вольное слово» (4) — 78 н. м. (34 дол.)  
«Посев» (12) — 60 н. м. (26 дол.)

Журналистическая подписка на «Посев» и «Вольное слово», с правом использования всего материала, не снабженного «copyright», без предварительного согласования: в Европе — 240 н. м., в остальном мире (с возд. доставкой) — 270 н. м. (115 дол.)

**Доплата за воздушную доставку:**

«Посев» и «Вольное слово» зона I: 24 н. м. (10 дол.);  
зона II: 36 н. м. (15 дол.)  
«Посев» зона I: 20 н. м. (8.50 дол.);  
зона II: 30 н. м. (13 дол.)

I зона — Северная Америка и Ближний Восток

II зона — Южная Америка и Дальний Восток

Цены в долларах — только для ориентировки; в случае изменения курса уплате подлежит указанная в марках сумма. Если нет других указаний, подписка по истечении года автоматически продолжается.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«Посев» — 5 н. м.

«Вольное слово» — 6 н. м.

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на  
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет  
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку):

При подписке непосредственно из издательства —  
48 н. м.

При подписке через представителей и книжные  
магазины — 60 н. м.

Цена в розничной продаже — 15 н. м.

В США и КАНАДЕ:

При подписке непосредственно из издательства —  
21 ам. дол.

При подписке через представителей и книжные  
магазины — 26 ам. дол.

Цена в розничной продаже — 6.50 ам. дол.

Подписную плату следует посылать:

почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.